

ВЕЧЕРА У КНЯГИНИ СТАРОБЕЛЬСКОЙ

Достаточно прочесть три, четыре первые страницы рассказа, чтобы видеть: он написан тем пожилым человеком, о котором идет речь в начале его.

Автор говорит о себе в третьем лице потому, что это представляет удобство для сохранения отчетливой разницы между ним и более или менее фантастическими пожилыми людьми, автобиографические рассказы которых вставлены в рамку его основного рассказа о своих разговорах и маленьких приключениях.

В. Полянский.

ЗНАКОМСТВО С ДРУГОМ ПРИНЦЕССЫ КОРЛЕОНЕ

С 6 часов утра часов до 6 вечера в первый четверг декабря нынешней зимы Павел Сергеевич Вязовский, человек лет пятидесяти пяти, давнишний житель двух из трех комнат старенького крошечного деревянного домика в одном из глухих углов Петербурга, проводил время по обыкновению: сидел за рабочим столом и писал, устав писать ложился на диван и отдыхал читая, потом опять садился писать, и урывками между этих занятий слышал утром голос старушки, хозяйки домика: «самовар принесла, Павел Сергеевич», сказал ей «благодарю, Анна Даниловна», выпил два стакана чаю с молоком, съел с чаем ломоть белого хлеба; опять слышал голос хозяйки: «принесла завтрак, Павел Сергеевич», опять поблагодарил ее, выпил стакан молока с черным хлебом, составлявший его завтрак, опять слышал голос хозяйки: «принесла обед, Павел Сергеевич», опять поблагодарил ее, съел тарелку грешневой кашицы, составлявшую его ежедневный обед; опять слышал — это было, наверное часов в 6, по аккуратно соблюдаемому старушкой порядку, — голос ее «принесла самовар, Павел Сергеевич!», опять сказал «благодарю вас, Анна Даниловна», — но тут произошло отступление от ежедневного порядка: встав положить чаю в чайник, и налить кипятком, Павел Сергеевич увидел, что старушка не ушла, стоит, сложа руки и смотрит на один из

локтей его пальто. Он вздохнул, подумав: «опять за то же», — и не ошибся: старушка сказала:

— Батюшка, Павел Сергеич, отдайте же мне пальто-то.

Вот уж месяца три, чуть не каждую неделю это приставанье! А в последнее время, кажется, иной раз и чаще, чем каждую неделю. Именно поэтому-то и угадал Павел Сергеич так верно намерение, с которым осталась в комнате Анна Даниловна, подав самовар.

— Отдам, Анна Даниловна, когда доносится.

— Да ведь еще весной на локтях второй раз положила заплаты, Павел Сергеич. Вы думаете «не проносились»; сами-то заплаты не проносились, это точно, да кругом-то их расползлось. И на полы-то вы посмотрите: ведь все в лохмотьях.

— Ну, это вы уж напрасно, Анна Даниловна, — отвечал Павел Сергеич, посмотрев на полы: — обтерлись, правда, но чтоб они были в лохмотьях, этого еще нельзя сказать.

— Право, отдайте, Павел Сергеич, распорола б я его, сшила бы лоскуты в роде подстилки, положила б у двери, обтирать ноги — и прекрасно бы было.

— Отдам, Анна Даниловна, вот погодите, отдам.

— Отдать-то отдадите, Павел Сергеич, да когда это будет.

— Отдам, Анна Даниловна, отдам. Нельзя будет носить, отдам.

Анна Даниловна покачала головой и пошла из комнаты, но сделав шаг, остановилась:

— Вот что еще хотела я сказать вам, Павел Сергеич: совсем необыкновенное дело. Почти что сейчас вот был у меня... Ну, да уж обещалась не говорить, так не скажу, — и одерживая победу над собою, старушка решительно пошла из комнаты. Надобно было доставить ей удовольствие, попросить рассказать необыкновенное дело. Она нередко употребляла такую тактику, чтоб очистить свою совесть: не сама она отняла время у Павла Сергеича своими новостями, а по его же просьбе.

— Кто был у вас, Анна Даниловна: племянник или муж племянницы?

— Нет уж, Павел Сергеич: обещала, что не скажу, то не скажу.

И старушка ушла.

Павел Сергеич положил чай в чайник, налил кипятком, прилег читать, потому что немножко устал писавши, выпил два стакана чая с молоком, съел с чаем ломоть белого хлеба и сел писать. Устал писать, лег отдохнуть читая; и только что опять сел за рабочий стол, услышал голос Анны Даниловны.

— Батюшка, Павел Сергеич!

Павел Сергеич не подсадовал, что хозяйка помешала его работе: он знал, что без надобности она не побеспокоила бы его.

— Вот что, батюшка, Павел Сергеич: часа два тому будет,

перед тем самым временем, как я подала вам самовар, заезжал к нам солидный такой мужчина, — лет, как бы вам сказать, тридцати пяти, — видный из себя и хорошо одет и лицо хорошее, и в обхождении такой тихий, и спрашивал у меня, дома ли вы будете нынешний вечер попозднее, часов этак в восемь. Я сказала: известно, что будете; он сказал: хорошо; я, говорит, этр и знал наперед, заезжал спросить лишь для верности; ну и попросил, чтоб я об этом вам не сказывала; потому, говорит, что не для чего связывать его, мало ли, говорит, что может случиться; может, ему и понадобилось бы или так просто вздумалось бы уйти, а если ему сказать, то будет связан. — Я говорю: напрасно опасаетесь, милостивый государь, связать его; никогда этого не бывает, чтобы он вечером ушел куда, разве раз в году, а то всегда дома. — Я это знаю, говорит, но только все-таки прошу вас, не сказывайте, чтобы на всякий случай не связать его. Что ж, вижу: правду он просит; ну и обещаюсь промолчать. Хотела тогда сказать, ну, однако сдержала себя, промолчала, — обещаюсь так уж нечего делать, промолчала вам о нем. А вот он теперь здесь; остался у меня в комнате, и шубу не снял, просил спросить, угодно ли принять.

«Просите», — сказал Павел Сергеич.

Старушка ушла. Павел Сергеич положил перо и встал в ожидании гостя. Хлопнула наружная дверь. — Итак, это был слуга, приезжавший тогда с вопросом от господина, и пошедший доложить господину, приехавшему теперь. Заскрипели колеса. Послышалось, что подъезжает к крыльцу экипаж на колесах; на колесах при морозе, по крепкому снегу, стало бгть карета. Опять отворилась наружная дверь и на этот раз не хлопнула, затворилась тихо. Старушка торопливо вошла и шопотом произнося «Батюшка, Павел Сергеич! Господи! Господи!» подала Павлу Сергеичу две визитные карточки, положенные одна на другую.

Павел Сергеич прочел на верхней

*Лидия Васильевна
Старобельская.*

«Удивительно, — подумал Павел Сергеич: — Положим, я нужен княгине для какой-нибудь справки о чем-нибудь из истории ее предков или предков ее мужа; но как могла она узнать обо мне, и главное, почему она приехала сама, а не прислала за мною?»

Он сдвинул верхнюю карточку с другой, и недоумение его исчезло. — Печатные строки этой карточки были итальянские; по-русски, они будут:

*Диана де-Валери
принцесса Корлеоне;*

под ними Павел Сергеич прочел слова, написанные женским подчерком тоже по-итальянски. Вместе с печатными строками они в русском переводе будут:

«Диана де-Валери, принцесса Корлеоне рекомендует расположению г. Вязовского свою родственницу и друга, Лидию Васильевну Старобельскую».

«Господи! Господи! — шептала хозяйка. — Барыня! Знатная! Господи, господи!»

Принцесса Корлеоне была дружна с дочерью одного из приятелей молодости Павла Сергеича. Принцесса не могла не слышать от нее о нем. Княгиня, вероятно, была за границей, виделась с принцессой, упомянула о надобности в какой-нибудь справке; принцесса сказала, что в Петербурге есть человек, который с удовольствием будет рыться в книгах или архивах, чтобы сделать приятное ей. Но княгиня не послала за ним, а приехала со своей просьбой сама к нему. — Иначе и не могла поступить женщина, которую принцесса Корлеоне называет своим другом.

Эти соображения были так просты, что Павел Сергеич уж кончил их, подымая взгляд от второй карточки.

Он пошел в комнату, которую старушка называла залой.

Вошла женщина высокого роста, смуглая, с прекрасными чертами лица.

— Прошу, княгиня, сюда, — сказал он, низко кланяясь ей и показывая на свой кабинет: — все-таки там есть кресло.

— Как объясняете вы себе мое посещение? — начала она, подавая ему руку и идя в кабинет: — вы думаете, мне сказала о вас Диана? Нет.

Княгиня села на подвинутое ей кресло, рукою приглашая Вязовского сесть рядом, и продолжала: — Нет, я сама знала ваше имя; у нас есть общие знакомые здесь, в Петербурге: два из немногих ученых, знающих вас, бывают у одного из моих родственников. Рекомендация Дианы была нужна мне только для того, чтобы вы не отказались исполнить мою просьбу. Я полагаю, вы исполните всякую просьбу, передаваемую вам от имени Дианы?

— Без сомнения, княгиня.

— Оденьтесь же получше. Я приехала за вами. У меня по четвергам собираются знакомые, и собираются рано; с половины девятого. Некоторые обедали, и я уехала от них. Это свои люди. В нынешний четверг я жду довольно многих еще вовсе незнакомых. Правда, оставшиеся примут их и без меня, но все-таки лучше, если уж буду дома я сама. Итак, вам не должно терять времени. Зачем прошу я вас быть у меня на вечере, переговорим дорогой. А теперь, одевайтесь поскорее. Фрака у вас, вероятно, нет; да и не нужно; но пальто у вас есть получше?

— Есть, княгиня.

— Прекрасно. Дайте же мне какую-нибудь книгу, чтобы подождать вас без скуки. Или у вас нет никаких, кроме скучных?

— Вот, княгиня, «Тысяча и одна ночь», если вы давно не перечитывали.

— С детства. И плохо помню. — А кстати, вы в старину любили рассказывать сказки детям. А теперь?

— Стал бы с удовольствием, княгиня, только детей я теперь не вижу; то есть вижу одного ребенка; но ему еще два года. Нельзя же сказывать ему.

— Ему, действительно, нельзя. Но моим детям вы будете рассказывать? У меня сыну восемь лет, дочери семь.

— Расскажу, княгиня.

— Превосходно. Итак, я уйду и жду вас.

Через минуту он вышел к ней в комнату перед кабинетом.

— Благодарю, что так скоро нарядились. Но я возьму вашу книгу с собой. Это прелесть, какой я не воображала по воспоминаниям детства. — Идем. — Яков Иванович, по приезде домой, не пейте чаю, — сказала она слуге, подававшему ей шубу. — Я думаю, что попрошу вас снова съездить сюда, то чтобы не простудиться. — Она пошла из домика. — Павел Сергеевич, вы не сердитесь на меня, что я оторвала вас от занятий.

— Помилуйте, княгиня.

Она села в карету. Влез и Вязовский.

— Я удивилась, что вы могли принять меня без всякой задержки. Я знала, вы всегда в халате. Как же случилось, что вы были в пальто?

— Точно, княгиня, прежде я всегда был в халате. Но вот уже лет пять у меня вовсе нет халата. Доносил прежний, и рассчитал, что выгоднее будет не тратить деньги на покупку, донашивать дома старые пальто, в которых уж нельзя выходить; прежде я их продавал; но какая же цена, когда совсем протерты локти.

— Так вы становитесь все скупее? А я думала, уж невозможно быть более скупым, чем вы были десять лет тому назад. Вы видите, однако, что мои сведения о вас останавливаются на годах уже довольно давних. Те люди, от которых я слышала ваше имя в Петербурге, не знают о вас ничего, кроме того, что вы бываете в библиотеках, которыми они заведуют. Меня интересуют ваши материальные средства. Скажите, сколько ныне составляет ваша половина дохода с сада? Я знаю, по отдельным годам это очень неодинаково, но средним числом по сложности четырех лет, как считали вы прежде, — сколько теперь? Гораздо больше прежнего? Яблоки черного дерева оценены теперь в Петербурге по достоинству. Нынешней осенью я заплатила за тысячу их 200 рублей; правда, это были отборные.

— Как вам сказать, княгиня... мой доход, собственно говоря, составляет около 315 рублей; но это на золото, стало быть по

нашему счету выходит много больше; по курсу нынешней биржи, например, около... позвольте, так ли... так: около 489 рублей.

— «На золото», «по нынешнему курсу» — доход сада в Увеке — получается по счету на золото! И составляет при очень высоком курсе золота меньше 500 рублей, а десять лет тому назад составлял 700 рублей — что это значит? Сад в низовье Волги арендует заграничная фирма? — Не может быть! И доход уменьшился? — Не может быть! Ваш доход не от сада.

— Ваша правда, княгиня.

— А доход от сада?

— Как вам сказать, княгиня... Это точно, мой доход теперь не от сада.

— Это вы уж сказали; но что стало с вашим доходом от сада?

— Как вам сказать, княгиня...

— Вы отдали и вашу половину двоюродному брату?

— Как вам сказать, княгиня... Впрочем, что же... Большое семейство; стали подрастать дочери; помиуйте, две были уже невесты.

— Когда это было?

— Восемь лет тому назад, княгиня.

— С того времени вы получаете по 300 — и сколько? — рублей золотом?

— Разумеется, княгиня; надобно было прежде устроить это дело; а то как же бы я остался без ничего? Помиуйте, княгиня; какие деньги могу я зарабатывать, с этой глупостью в голове? Такая глупость, что даже стыдно.

— Что вы называете в этом случае вашей глупостью? Вашу работу, вероятно?

— Разумеется ее, княгиня; а то что же?

— То есть, кроме этого, во всем остальном вы поступаете благоразумно?

— Ну, вот, княгиня! Будто я сам не понимаю! Только все другие мои глупости пустяки перед этой.

— Возвратимся к тому из этих пустяков, о котором говорили. Откуда ж вы получаете доход? И за что?

— Послал, княгиня, в Британский Музей каталог библиотеки деда и отца; были редкие издания; тоже автографы; например...

— Приблизительно, знаю.

— Ну, велели английскому посольству отправить все это туда; я просил назначить мне пенсию по оценке, какая будет; ну и назначили 50 фунтов в год.

— Как же это, вы — вы! — продали библиотеку!

— Что ж, княгиня, за важность? Я думаю, когда посылаю каталог, я вычеркнул те книги, какие нужны мне; продал только ненужные, а надобные для работы остались у меня.

— А ваша работа — все та же, без сомнения, о которой вы

десять лет тому назад говорили, что трудитесь над ней уже пятнадцать лет? — Когда она будет кончена?

— Она доведена до конца два года тому назад, княгиня; теперь я перечитываю, пополняю. Года через четыре кончу пересмотр.

— И тогда поедете в Париж печатать?

— Нет, княгиня, думаю поехать через полтора года. Надобно пополнить в Париже, в Лондоне.

— Для этого-то и стали копить деньги?

— Нет, княгиня, зачем копить деньги для этого? В Париже, в Лондоне даже дешевле жить, чем в Петербурге.

— А как же вы доедете до Парижа? И переезды из Парижа в Лондон, опять в Париж, опять в Лондон — много раз придется переехать.

— Помилуйте, княгиня, как же не много? Такая работа будет, то есть, для пополнения справок — ну, тоже цитат — что нельзя иначе: ныне здесь, завтра там.

— И в Риме и в Вене придется побывать не раз?

— Невозможно без этого, княгиня.

— На это не достанет ваших 50 фунтов.

— Помилуйте, княгиня, как же достать.

— Откуда же вы будете брать эти деньги?

— Что ж, княгиня, — издатель будет давать вперед, разве много нужно?

— Я знала, что услышу такой ответ. Для чего мне надобно было услышать его?

— Вероятно для того, княгиня, чтобы сказать: так у вас, г. Вязовский, нет ничего в запасе?

— Да. Только я назвала бы вас не «г. Вязовский», а «Павел Сергенч».

— Ваша правда, княгиня, в этом я ошибся.

— А для чего я хотела услышать от вас самого подтверждение тому, что у вас нет денег в запасе?

— Вероятно, для того, княгиня, чтобы спросить: хорошо ли это по моему мнению.

— Да, я хотела спросить, не случается ль иногда вам чувствовать огорчение от того, что у вас нет денег?

— Как не случаться: случается, княгиня.

— Я говорила, что сведения, какие имеет о вас Диана, оставались на прощанье вашем с одною девушкою десять лет тому назад.

— Вы не говорили, княгиня, именно этих слов; но было понятно, что временем отъезда этой девушки кончатся сведения принцессы обо мне.

— Диана получила, но уже после моего возвращения в Петербург, одно сведение о вас, относящееся к более позднему времени; к недавнему, и даже настоящему. Вы бываете у одной дамы. Ее

фамилия — нужна ли для того, чтобы мы понимали друг друга? Вероятно нет?

— Ваша правда, княгиня; это единственная дама, у которой я бываю.

— Вы любите ее?

— Как же не любить, княгиня. Я и вас люблю.

— Объяснение в любви ко мне, Павел Сергеич? Не даром Диана хвалила вашу любезность.

— Нет, вы не смейтесь, княгиня. Как же мне не любить вас? Разве ваш муж не был тоже очень хороший человек? И разве вы не любили его?

— Любила, Павел Сергеич. Но оставим это.

«Умно объяснился в своих чувствах,— подумал Вязовский: — Надобно сказать ей что-нибудь. Что ж бы такое сказать ей?»

Она молчала. Он придумывал, что ж бы такое сказать ей.

Карета проехала Аничков мост. Мелькнул Казанский собор. Карета повернула в Большую Морскую. Надобно было спешить придумать, что сказать, потому что уж недалеко было до дома княгини. Павел Сергеич знал, где ее дом, потому что это был один из тех домов, которые знают все в Петербурге. Уже недалеко, вовсе недалеко было до него. Как тут быть? Надобно поскорее придумать. Нехорошо это будет не придумать.

Ничего не придумывалось. А повернув в следующую улицу, карета у первого же подъезда и остановится.

Он наклонился, взял руку княгини и стал целовать.

Княгиня зарыдала.

Карета остановилась.

— Что ж, княгиня, я думаю и дети у вас хорошие.

Вот придумалось же, что следовало сказать.

— Я надеюсь, будет хорошие, — проговорила княгиня.

Она вышла из кареты. — Вышел и он.

— Я не успела сказать, — начала княгиня, прошедши дверь подъезда: — я не успела сказать вам дорогой, о чем я хочу просить вас.

— Это понятно, княгиня. Я полагал, об ученой справке, а выходит совсем другое. Разумеется понятно. Как же не понятно. Тут и говорить, княгиня, не о чем!

— Итак, вы будете сказывать сказки моим детям? — сказала она шутливо, делая над собой усилие, чтобы придать голосу веселый тон.

— Буду, княгиня.

— А если б я когда-нибудь попросила вас пожить у меня? Я попросила б от имени Дианы.

— Разумеется, княгиня; как же без этого? Нельзя без этого; только для чего ж говорить от имени принцессы, княгиня?

— Вот что! — Однако, надобно посмотреть. — Княгиня остановилась перед зеркалом в передней взглянуть, не видно ли по

глазам, что она плакала. — Так вот что! Незачем просить от имени принцессы. Понимаю. Вы любите меня не меньше, чем Диану?

— Нет, княгиня; как же можно, большая разница.

— Чем же я хуже Дианы?

— Вот видите ли, княгиня. Вы...

Княгиня засмеялась.

— Поощадите, Павел Сергеич.

— Что ж это я в самом деле, княгиня!

— Диана говорила правду: вы неоцененный собеседник, Павел Сергеич.

— Да, это бывает, княгиня. Но больше я скучный собеседник.

— Для меня не будете скучным. Я теперь попрошу вас остаться пожить у меня, — для формы прибавляя: — если вы понравитесь моим детям; в чем, разумеется, нет сомнения не только у меня, даже и у вас.

— Ваша правда, княгиня.

— Немножко заметно, что я плакала. Надобно мне умыть глаза. Пойдем в мои комнаты. Я познакомлю вас с моими детьми. — Она пошла в боковую дверь.

Прошедши две комнаты, они вошли в небольшой салон. Там сидела горничная.

— Где дети, Наташа?

— Играют в нашем зимнем садике, Лидия Васильевна; с ними там некоторые из наших молодых дам.

— Это далеко вести вас туда, Павел Сергеич. Лучше позовите детей сюда, Наташа. Скажите нашим дамам, которые там, что я выйду в приемные комнаты через десять минут.

В одной из длинных стен зала были двое дверей.

— Налево, спальня Володи, а направо, спальня моя и Ничочки. Идите со мною. Я могу разговаривать с вами и умывая глаза.

Они перешли через комнату ее сына в следующую, где был прибор для умыванья.

— Комнаты для себя выберете вы сам. Я советовала бы взять те две, которые налево от нашего особого зимнего садика, — моего и детей. Впрочем, как сам вздумаете. Дети покажут вам всю эту сторону дома, нашу семейную.

— Не для чего, княгиня, выбрали вы, то и будет хорошо.

— Я думаю. Итак, для вас приготовят комнаты подле садика. А как мы будем называть ту даму, которую вы любите больше, чем меня, почти так же, как Диану? — Может быть Корнелией Васильевной?

— Я согласен называть ее вашей сестрою, княгиня.

— Она моложе меня пятью годами; и лучше?

— Я думаю, только четыремья, княгиня. Ей двадцать три года.

— Если так, то да; но все-таки, много моложе. И лучше?
— Другой тип, княгиня; у вас малороссийский; у нее итальянский.

— А я могу быть с нею знакома?

— Не знаю, княгиня. Но сомневаюсь.

— Сомневается и Диана. Но быть может, это удастся мне.

Я думаю сделать так: вы скажете мне, в каком часу удобнее будет для нее завтра принять меня. — Княгиня отерла глаза и посмотрела в зеркало. — Теперь не заметно. — Я поеду передать ей, что вы поселились у меня.

— Что ж, княгиня, это хорошо.

— Если она... Но вот бегут дети.

Дети бросились к матери. — Мамаша! мамаша!

— Мамаша, а мы спросили, — начал Володя, приостанавливая свои поцелуи.

— У Наташи, — подхватила Ниночка.

— Кто приехал с вами... — продолжал Володя.

— А Наташа не знала, — продолжала Ниночка.

Так это шло и дальше в два голоса:

— А мы знали — и не сказали ей — Наташа, это Павел Сергеич, — который будет сказывать нам сказки. — И вы, Наташа, будете слушать с нами. — И Павел Сергеич будет учить нас всему.

— Всему учитесь вы, Володя и Ниночка, если хотите, — сказала Наташа: — а я не хочу не только всему, ничему учиться. И обманула-то вас я, а не вы меня обманули: я слышала, кто приехал с Лидией Васильевной, а сказала: не слышала.

— Ах, что мы сделали, мамаша! — воскликнула с отчаяньем Ниночка: — мы забыли поздороваться с Павлом Сергеичем! Павел Сергеич, вы простите, что мы забыли?

— Это от радости, Павел Сергеич, — пополнил Володя.

— А я вам скажу вот что, молодая лэди и молодой джентльмен, — начал Павел Сергеич: — знаете ли вы трех календеров?

— Трех — как? — Трех, кого? — спросили два голоса.

— А вы, Наташа?

— Не знаю и я.

— Ну, вы не хотите учиться, так нечего вам и слушать.

— И не буду.

— И действительно, не будете слышать начала, если Павел Сергеич не подождет вас, — сказала княгиня. — Дети, как видите, Павел Сергеич, решили, что я должна просить вас остаться. Наташа, вы скажете вашему дядюшке, чтоб он передал старушке хозяйке, что Павел Сергеич остается у нас — и взял вещи, какие нужны. — До половины десятого, я прощаюсь с вами, молодой джентльмен и молодая лэди. — Павел Сергеич, не надоест вам сидеть с ними почти целый час?

— Мы увидим, княгиня. Не надоедим друг другу, то просидим и до двенадцати, если вы позволите, княгиня.

— Невозможно, Павел Сергеич; в половине десятого я приду за вами. Все общество соберется к тому времени. В библиотеке группируются охотники до ученых разговоров и рассуждений о политике. Я проведу вас к ним. С некоторыми, познакомлю; — с теми, знакомство с которыми будет, надеюсь, приятно вам; это очень ученые люди. Я распоряжаюсь вами, Павел Сергеич, совершенно деспотично; но только на этот вечер, для первого знакомства.

— Я понимаю, княгиня. Впрочем, и после, всегда делайте то же; мне все равно.

— Нет, этого не будет после. А за нынешний вечер вы оправдаете меня, когда мы переговорим по разъезде гостей.

— Это понятно само собою, княгиня. Так лучше для первого знакомства.

— А мы тогда тоже пойдем? — Только не к ученым пойдем? — спрашивали дети.

— Пойдете тогда к нашим, и для нынешнего вечера оставайтесь там, сколько вам угодно, хоть до самого разъезда гостей.

— Превосходно, — сказал с солидным спокойствием Володя.

— А я вперед знаю, что усну там, — воскликнула Ниночка.

— А куда, садитесь-ка, молодая лэди и молодой джентльмен, вот сюда подле меня; — сказал Павел Сергеич, усаживаясь на широкий и низенький диван. — Я думаю, вы сами знаете, как маленьким надо на такие диваны садиться с ногами. — А вы, Наташа, не слушайте.

И он начал.

— Лет тысячу тому назад, самый сильный царь на свете был халиф. Халифы царствовали в Азии, и столица у них в то время была Багдад...

Наташа села на диван подле Ниночки.

— Я не слушать, Павел Сергеич, а только мы с Ниночкой любим сидеть обнявшись.

— Прежде были другие, а тогда Багдад. И самый сильный из всех халифов был Гарун Аррашид. Ни до него, ни после него такого сильного не было. Он любил...

Княгиня ушла.

— Наташа, запремся, чтоб никто не помешал, — сказала Ниночка.

— Умно вздумали, Ниночка, — сказала Наташа, — Володя, вы видите, мы с Ниночкой сидим обнявшись, нам встать нельзя, ступайте-ка, закройте дверь вы.

Володя вскочил, запер дверь и с восклицанием: — Когда вы меня потревожили, то вот же что! — бросился к Наташе, сел прижавшись к ней с другой стороны от сестры.

— Это и точно лучше, Володя, — сказала Наташа, обнимая его свободной рукой.

— ...Он любил, одевшись в простое платье, ходить по Багдаду, чтобы своими глазами видеть, все ли хорошо. Вот однажды...

— Господа и госпожи... да они заперлись, — послышался господам и господам голос княгини. Володя побежал отпереть дверь.

— Это я вздумала, мамаша, — сказала Ниночка.

— Умница, душенька. — Я за вами, Павел Сергеич. Я проведу вас прямо в библиотеку. После, когда пойдем ужинать, познакомьтесь с остальным обществом.

ВЕЧЕР ПЕРВЫЙ

В библиотеке было человек двадцать. Двух или трех из них Павел Сергеич знал в лицо. Его не знал даже и в лицо ни один. С некоторыми княгиня познакомила его, выбрала, где ему сесть. Он уселся и стал слушать разговоры.

В той группе, в которой посадила его княгиня, разговор шел об ученых предметах; в других, об искусстве, литературе, политике.

Двое, между которыми посадила княгиня Павла Сергеича, обращались к нему с вопросами, как он думает о том или другом предмете разговора их с другими; он давал ответы, основательность которых не могла быть потрясена никакой ученостью, никакой диалектикой: «Конечно, многие думают одинаково с вами» или «Да, об этом спорят». Когда спрашивавший не удовлетворялся такими заявлениями его убеждений, говорили: — «Но ваше мнение?» — Павел Сергеич не затруднялся высказать и свое собственное мнение: «Да, это вопрос интересный» или «Да, я когда-то тоже интересовался этим» или «Да, это может казаться любопытным».

Собеседники перемещались из группы в группу, один за другим присоединялись к группе, сидевшей около тех двух знакомых Павла Сергеича, между которыми посадила его княгиня и которые не покидали своих мест; разговор менялся; Павел Сергеич давал ответы все в прежнем вкусе, о чем бы его ни спрашивали. Наконец и перестали спрашивать его. — Все присоединились к той группе, в которой сидел с самого начала Павел Сергеич. Он видел, что те два собеседника, между которыми посадила его княгиня, были главные лица общества, беседовавшего в библиотеке. Теперь, поочередно говорили они; все другие только вставляли краткие замечания, большею частью вопросы, в промежутки обмена их своими мыслями. Они говорили отчасти возражая один другому, но больше соглашаясь между собою, лишь пополняя

мысли друг друга, о положении дел в России, о настроении русского общества, о желаниях просвещенных патриотов.

Вошла княгиня.

— Господа, дамы и легкомысленные молодые — к сожалению, и не молодые, но тоже легкомысленные — товарищи их препровождения времени в недостойных внимания вашей серьезности пустых разговорах и смехе, прислали меня объявить, что дают вам три минуты на заключение мира по вашим спорам. Они решили сесть за стол в половине двенадцатого. — Больше ли вы сходились, или больше расходились с Мг. Вязовским? — обратилась она к тем двум, между которыми посадила его, когда привела в библиотеку. — Я думаю, мало в чем могли сойтись с ним вы? — она назвала — фамилию одного из этих двух. — А вы, — она назвала фамилию другого, — и того меньше? — Я не хотела пугать вас вперед; но теперь вы увидели, каков Мг. Вязовский: страшный спорщик, ужасный, какого другого не найти? Я боюсь, он по целым получасам не давал слова выговорить вам.

Они переглянулись между собой, как будто общими силами приискивая такую форму ответа, которая не была бы неловкою. Павел Сергеич соглашался в душе, что положение их затруднительно.

Но княгиня сумела вывести их из него. — Я вижу, что ошиблась относительно степени участия Мг. Вязовского в вашей нынешней беседе. Павел Сергеич не всегда разговорчив. И у кого из нас не бывают такие настроения души, что тяжело говорить? У кого не бывало также часов такой сосредоточенности мыслей на одном предмете, что мы чувствуем себя неспособными говорить ни о чем ином, интересующем других? — Я думаю, что я ввела Павла Сергеича в тяжелое настроение мыслей одною из моих просьб, отнимающей у него очень много времени. Он был так добр, что согласился остаться у меня. Почти все время, которое проведет он в гостях у меня, будет потеряно для его ученых занятий. Это большая жертва, и понятно, что он будет задумчив.

— Э, княгиня, помилуйте! — Он махнул рукой. — Какая жертва! и какая потеря времени! Нужен же человеку отдых. А вы и верили принцессе, что я работаю с утра до ночи? Как же! Не все ли равно, читаю ли я для отдыха вздор три, четыре часа в день, или употребляю их на разговор с детьми? Задумчивости нет от чего у меня быть. А просто я держал себя, как невежда. Не светский я человек, и не заметил, что нарушал приличия моим молчанием, моими уклончивыми ответами.

— Исправьтесь, если увидели свою ошибку. — Милая сестрица, — сказала б я вам, но вы не сестрица, а братец, потому я скажу: милый братец, расскажите нам одну из тех сказок, которые вы так прекрасно рассказываете.

— Извольте, княгиня.

— После ужина?

— Когда вам угодно, княгиня.

— О чем же будет ваша сказка?

— Не знаю, княгиня.

— Расскажите нам такую сказку, чтобы все бывшие здесь извинили вам то, что вы держали себя с ними, по вашему выражению, как невежда.

— Извольте, княгиня.

— Вам надобно время обдумать. Мы не будем принуждать вас итти с нами ужинать. Вам принесут сюда молока и хлеба; еще чего?

— Довольно и этого, княгиня. Только обдумывать мне нечего. У меня в памяти есть такая сказка.

— Прекрасно. Итак, вы будете ужинать с нами. Господа, все ваши несогласия примирены? — то мы можем итти в столовую.

Княгиня и бывшие в библиотеке шли анфиладой приемных комнат. Общество салонов присоединялось к ним. Княгиня познакомила Вязовского с тремя родственными ей семействами, поручила его их заботам.

Когда общество вошло в столовую, оно состояло из восьмидесяти или девяноста человек. Лица тех трех семейств, которым был поручен Павел Сергеич, расположились группами по обеим длинным сторонам стола, чтобы везде были помощницы и помощники хозяйки в исполнении ее обязанностей. Две старшие дамы этих семейств повели Вязовского к той короткой стороне, которая была нижним концом стола; старшая из них села по середине ее, прямо против хозяйки, и посадила Вязовского налево от себя, а по правую сторону старшей села другая. Старшей из этих дам было лет сорок, другой годами десятью или двенадцатью меньше.

— Вы остаетесь у Лиденки, Мг. Вязовский, — начала разговор за столом старшая: — нечего и говорить, как мы все рады этому.

— Не знаю, баронесса, буду ли я хорошим гувернером Володи; но другом его и Ниночки буду.

Дамы, взявшие под свое покровительство Вязовского, переглянулись между собой.

— Другом Володи и Ниночки вы уже стали, — сказала дама, начавшая разговор.

— И другом Наташи, — сказала та, которая была помоложе.

— Ваша правда, графиня, Наташа тоже подружилась со мной.

— Это очень милая девушка, — сказала баронесса. — Но как вам понравился Володя? Кстати, Наденька, где они, он и Ниночка?

— Он ушел спать, а Ниночка уснула, как сидела в будуаре Лиденки, — отвечала графиня. — Итак ваше мнение о Володе, Мг. Вязовский?

Разговор пошел о детях княгини, потом графиня рассказывала о своих детях.

Ужин был непродолжителен. Он едва ли длился четверть часа.

— Идем к Лиденъке, — сказала баронесса вставая.

— *Mesdames et messieurs*, — сказала княгиня, возвышая голос, чтобы было слышно всем. — Прошу вас выслушать несколько слов, прежде чем вы встанете. Сама я встану; так легче говорить громко. — Она встала. — Вы слышали — некоторые от меня, другие от них — что Мг. Вязовский расскажет нам сказку. Я не знаю, до какой степени она будет импровизацией. Отчасти, будет, в том нет и сомнения; но, вероятно, только отчасти. В прежние годы, для отдыха от своего ученого труда Мг. Вязовский писал — вероятно и теперь пишет — повести. Сколько знает моя родственница, принцесса Корлеоне, ни одна из прежних — писанных раньше, чем за десять лет — не была докончена. Это понятно: служба только отдыхом от ученой работы, каждая из них была отлагаема, когда утомление проходило и возобновлялся труд. А когда Мг. Вязовский чувствовал потребность нового отдыха, в его мыслях были уже новые предметы раздумья о жизни, новые формы мечты — если и о тех же идеалах, то в новой обстановке и, быть может, в новых сочетаниях элементов. Отвечая на мою просьбу рассказать нам сказку, Мг. Вязовский выразился, что сказка на предложенную мной тему есть у него в памяти. Потому, я полагаю, что он воспользуется для рассказа нам какою-нибудь из своих повестей. Но она оставалась, по всей вероятности, не конченной, — быть может, едва начатой; и его рассказ ненаписанных ее частей будет импровизацией на тему, обдуманную вероятно, вполне когда-нибудь, давно или недавно. Но едва ли его прежняя тема была совершенно одинакова с предложенной мною и принятой им для рассказа нам, потому что моя тема возникла из случайности, как вы слышали. Собственно такую случайность он едва ли мог иметь в виду. Потому, я предполагаю, что и сама тема прежней его обдуманной, но недописанной повести будет видоизменена необходимостью приспособить ее к особенным чертам той надобности, сущность которой соответствует основной ее идее. — Прошу вас перейти вместе со мной и Мг. Вязовским в тот зал, о котором многие из вас вчера спрашивали, почему он был в этот вечер заперт. В нем шла работа для приготовления удобства Мг. Вязовскому рассказывать, нам — слушать. Княгиня обратилась к Вязовскому, стоявшему у угла стола близ нее.

— Павел Сергеич, я пригласила стенографов. Надеюсь это для вас все равно?

— Помилуйте, княгиня, как же не все равно.

— А довольно ли верны мои догадки о том, что такое будет ваш рассказ.

— Очень достаточно верны, княгиня.

— Теперь прошу вас встать, mesdames и messieurs, и пойдем в Малый Белый зал.

В зале, который назывался Малым Белым, стояли полукругами перед небольшой эстрадой мягкие диваны, кресла, и между ними, для желающих несколько стульев. Между эстрадой и передним полукругом аудитории, несколько правее и левее эстрады, стояли два стола; за тем, который был налево перед эстрадой (если смотреть из середины полукругов к эстраде), сидели шесть стенографов; все шестеро были молодые люди; за другим пять стенографисток и мужчина лет тридцати пяти или несколько побольше; он очевидно был глава этого общества стенографисток и стенографов.

Вязовский подошел к столу стенографистов и, не обращая внимания на них, низко поклонился девушкам и сидевшему с ними мужчине, за другим столом, потом, перестав обращать внимание на тот стол, пожал руки стенографистам и разговаривал с ними, пока общество выбирало места. Когда все сели, он взошел на эстраду, низко поклонился обществу, и сказал:

— Мой рассказ будет иметь автобиографическую форму. В подобных случаях, публика предполагает, авторы отрицают тождество рассказчика с лицом, от имени которого ведется рассказ. Я предоставляю вам самим решать, до какой степени «я» рассказчика тождественно с «я» рассказа. Чтобы вы имели достаточно твердые основы для суждения об этом, я ознакомлю вас с ходом моей жизни. Сын русских отца и матери, я родился в России и никогда не бывал за границей.

Он снова поклонился, сел на кресло, оперся локтями на стол, положил голову на руки, закрыл глаза, через несколько секунд открыл их, опустил руки на стол, и начал:

МОЕ ОПРАВДАНИЕ

Отец мой был родом из Неаполя, мать уроженка Тессинского кантона; мы жили в одном из больших селений на северном берегу По, в прежней венецианской области неподалеку от границы с прежней миланской. Первые впечатления моего детства соединены с прелестными лугами нашей равнины.

Один из родственников моей матери жил в Лондоне; он занимал довольно важную должность в конторе одной из самых сильных банкирских фирм Сити. Когда мне было семь лет, мой отец получил от него приглашение поступить на службу в эту контору. Мы были люди небогатые, отказаться от его предложения было бы безрассудством. Мы переселились в Лондон. Через полгода, моя мать скончалась от тифа, который получила, ухаживая за мной, заразившимся в школе. Это самое тяжелое воспоминание моей жизни. Отец довольно долго оставался печален. Но через

два года по ее смерти вступил во второй брак. Моя мачеха была англичанка. Вместе с ней поселилось у нас ее семейство, состоявшее из матери и двух младших сестер, милых девушек, веселых, ласковых. Разумеется я полюбил их. О том как любила меня мачеха, я не могу вспоминать, не умиляясь душой.

Мне было 20 лет, когда я кончил курс в Кембридже. Отец взял меня в контору фирмы. Я служил с год под его начальством. Глава фирмы знал меня, и скоро удостоил своим доверием, несмотря на молодость моих лет; часто давал мне поручения в первое время, конечно, небольшие, но требовавшие солидности и скромности. Однажды меня позвали в его кабинет.

— Вы слышали о несчастье, которое случилось с Жоржем Дюбеллэ? — спросил он меня, и видя по моему лицу, что я не знаю, продолжал: — Экипаж, лошади которого взбесились, ударил несчастного юношу острым обломком дышла, но теперь он пользуется полным сознанием. Спешите к нему, успокойте его за судьбу жены. Вы, надеюсь, знали его сколько-нибудь?

— Мы приятельски здоровались, когда мне случалось входить в то отделение конторы.

— Тем лучше, что он хорошо знает вас. Он служил у нас так недолго, что еще не умел быть особенно полезен заведующему нашей французской корреспонденцией. Но это все равно; скажите ему, что наша фирма будет давать его жене ту пенсию, какую она найдет достаточной для ее обеспечения; вы определите цифру по разговору с ним; чтоб он был смелее, начните с того, что жалованье, которое получал он, было бы недостаточно для доставления спокойствия женщине, лишившейся с ним перспективы постепенного увеличения своих денежных средств; эта перспектива важный элемент довольства жизнью; ее должно ценить дорого; и подымайте цифру пенсии; можете идти до 300 фунтов. Лишнего не назначайте, но скуп не будьте. Вот его адрес. Спешите. Вас ждет моя карета. Есть при вас деньги? — Возьмите на всякий случай. — Он подал мне несколько банковых билетов и сверток соверенов.

Я побежал, забыв даже зайти в контору за шляпой.

Считаю лишним рассказывать, что я увидел, вошедши в маленькую квартиру Жоржа Дюбеллэ; да я мало что видел, кроме моего сверстника, которому предстояло умереть через несколько часов. Его физические страдания не были мучительны. В груди была глубокая рана от острого конца железной обивки дышла, сломавшегося о каменный столб, опрокинутый мчавшимися лошадьми. — Первые мои слова исцелили нравственные его страдания. Он говорил о 2000 франках; я сказал, что хорошо и стал спрашивать о ее семействе, воспитании, чтоб увидеть, достаточно ли будет этого; она молчала; говорил один он; довольно легко; он рассказал, что ее отец — отставной офицер, вроде поручика, что она теперь единственное дитя родителей: были два брата, до-

вольно много старше ее; оба погибли в Кохинкине от миазмов тропических болот; отец и мать ее люди довольно образованные; она очень хорошо образована; в девушках не испытывала особенной нужды; отец получает пенсию, у матери есть домик в Арле и маленький виноградник в трех километрах от города; все вместе это составляет тысячи полторы франков дохода; их домик не дает дохода, они живут в нем одни; но надобно считать и цену даровой квартиры. По всему этому, 2000 франков пенсии будет достаточно для нее, говорил он, я сказал, что она будет получать 3000 и что я оставляю ей не в счет этой пенсии на расходы возвращения к родителям 100 фунтов. Я не знаю, действительно ли 100 фунтов отдал я ей. Я не мог бы даже сказать, молодой женщине я отдал их или старухе, если б не знал, что жена юноши должна быть очень молода.

Тут был врач, тут были несколько человек, умевших помогать врачу; мое присутствие было излишним; я поехал доложить мистеру Бриггсу об исполнении его воли. Выслушав меня, он сдвинул брови и сказал голосом, суровость которого заставила зарыдать меня, расстроенного от впечатлений, испытанных мною у постели умирающего.

— Вы должны были оставаться там до конца, мистер Сеттембрини. Если вам понадобится спросить у меня какого-нибудь распоряжения, вы пришлете кого-нибудь в моей карете. Сам вы должны не отлучаться от миссис Дюбеллэ, пока она не заснет.

Я провел всю ночь в комнате умершего. Миссис Дюбеллэ не хотела отходить от мужа. На рассвете она задремала. Отправился уснуть и я, сделав распоряжения о том, чтобы берегли ее.

Я распоряжался и похоронами, распоряжался потом приготовлениями миссис Дюбеллэ к отъезду. Мой патрон велел мне проводить ее до Арля, где жило ее семейство. Мы выехали через четыре дня по смерти ее мужа. В Арле я получил приказание не спешить возвращением, и оставался там два месяца; а когда написал, что возвращаюсь, то получил приказание остановиться в Париже для исполнения поручения, которое будет дано мне там. В Париже меня ждало приказание записать на имя М-те Дюбеллэ во французском банке ту сумму облигаций Орлеанской дороги, которая дает 3000 франков дохода. Ее пенсия была обращена в капитал, переданный в ее собственность. — «По разнице наших лет должно думать, что М-те Дюбеллэ переживет меня; потому, я должен был обеспечить ее», — писал мне в Париж мистер Бриггс.

Вероятно нет надобности говорить о том, какая перемена в моей душевной жизни была произведена исполнением поручения моего патрона успокоить умирающего Жоржа Дюбеллэ.

Мы не переписывались с М-те Дюбеллэ. Ее мать, М-те Вердьё, извещала меня о ней; я отвечал М-те Вердьё записками, состоявшими из двух, трех строк.

— Отдохните, Павел Сергеич, — сказала княгиня. В зале направо вы найдете сигары.

— Я не курю, княгиня.

Она и те две дамы, под покровительством которых сидел Вязовский за ужином, переглянулись. Старшая из тех двух дам пожала плечами.

— Давно перестали вы курить, М-г Вязовский?

— Лет семь, баронесса.

— А чай с молоком вы пьете?

— Пью, баронесса.

— Я слышала, что молоко ныне дорого.

— Очень дорого, баронесса.

— Скажите, М-г Вязовский, хороша ли была она? — сказала графиня.

— Она была из Арля, графиня.

— Ей вероятно было лет 16, когда вы познакомились с ней?

— С ней познакомился не я, графиня, а мистер, или точнее выражаясь синьор Сеттембрини.

— Синьор Сеттембрини познакомился с нею в Лондоне. А вы — в Москве или здесь?

— Я уклоняюсь от ответа, графиня.

— Сколько же лет было ей при начале вашего знакомства?

— Ей было во время смерти мужа почти 18 лет, графиня.

— Откуда она была родом: из Малороссии, с Волги, из центральной России или северной?

— Она была уроженка Арля, графиня.

— Не потому ли названа она у вас южной француженкой, что у нее были совершенно черные волосы? Вы опять скажете: «уклоняюсь от ответа». Не говорите так; подобные ответы будут принимаемы мною за подтверждение вопросов. Итак: какого цвета были ее волосы? Я хочу пока знать только это. Совершенно черного?

— Совершенно, графиня.

— Дайте ж ему отдохнуть, Наденька, — сказала княгиня.

— Я нисколько не устал, — сказал он.

— В таком случае продолжайте, — сказала баронесса.

Через полгода, я вошел в кабинет моего патрона и попросил у него отпуска на две недели.

— Вы надобен мне, — сказал он: — Не могу без неудобства для себя дать вам отпуск раньше чем через месяц.

Еще месяц неизвестности, страдания, Дрожаящим голосом я повторил просьбу.

— У вас очень спешное дело?

— Да.

— Куда вы едете?

— В Арль.

— В Арль? — Он пристально посмотрел на меня. Я покраснел под его взглядом. С минуту прошло в молчании.

— Вы поедете в Марсель. Вы можете побывать там, когда вздумается, лишь бы до истечения двух недель. Там вас не задержат; это будет дело нескольких часов. Потом я буду присылать другие поручения в Марсель; такие же. Даю вам отпуск на пять недель.

— Я никогда не забуду того, что делаете вы для меня теперь, мистер Бриггс.

— Если во время вашей поездки не будете иметь надобности телеграфировать мне что-нибудь по вашим личным делам, то немедленно по приезде вы зайдете сюда ко мне, или пошлете мне извещение о вашем приезде, если это будут не конторские часы.

Из Парижа я телеграфировал М-те Вердьё: «Еду. Завтра в 11 часов буду говорить с нею и с вами».

Меня встретила только мать. Она была простая женщина, прямодушная и на мой привет ей, не дожидаясь вопроса о дочери, отвечала:

— Элеонора здорова. Я думаю, что она выйдет к нам. Но я не уверена в том. Она очень расстроена.

Я говорил ей о любви к ее дочери, говорил, что приехал только сказать о своей любви; не прошу назначить срок для дозволения сделать предложение; знаю, что дозволение не может быть дано скоро; я готов тотчас уехать и не возвращаться без приглашения; обещаюсь не писать ей, как прежде не писал.

— Я не могла не догадываться, что вы полюбили Элеонору, — сказала М-те Вердьё: — такая нежная заботливость, какую выказывали вы тогда, была сильнее простого сочувствия несчастью. И ваша внимательность ко мне слишком ясно свидетельствовала, что я не чужая вашему сердцу.

Я говорил с М-ше Вердьё об индифферентных вещах, рассказывал ей новости, слушал от нее новости. Прошло часа два.

— Я пойду к ней, — сказала М-те Вердьё.

Я сидел один долго. Вошла мать.

— Элеонора не может видеть вас ныне. Я упрасивала ее. Она слушала молча. Она расстроена сильнее, нежели была, когда ушла в свою комнату, услышав ваши шаги. На ней лица нет. Она сказала только, что завтра, быть может, выйдет к вам. Обедайте завтра у нас. Вы знаете, я хорошая кухарка. Вы помните, мы обедаем в четыре часа.

Она обняла меня и поцеловала.

— Элеонора не выйдет к обеду, — сказала мне на другой день ее мать: — Но она поговорит с вами после наедине; Боже мой! Боже мой! Я не могу понять ее; я опасаясь за ее рассудок.

Вскоре после обеда мать ушла, уводя с собой мужа. Через не-

сколько минут вошла М-ме Дюбеллэ; она была бледна, будто только что вставшая после продолжительной болезни.

— Я любила Жоржа, больше ничего не могу сказать вам. Забудьте меня. Дайте руку на прощанье. — Она взяла мою не подымавшуюся руку. — Благодарю вас за все, что вы сделали для меня и еще больше за ваше чувство ко мне.

Я хотел поцеловать ее руку.

— Не надо, не надо, — она опустила мою руку, упавшую бес- сильно. — Прощайте.

Она ушла, я остался дожидаться ее матери. Мать вошла через минуту, молча обняла меня и заплакала.

Я сказал ей, что уезжаю. Она сказала, что не теряет надежды, мы крепко обнялись и я ушел...

Сам не замечая, куда иду, я остановился и очнулся только по голосу носильщиков, которые вчетвером несли на плечах что-то большое и тяжелое: «Остерегитесь». Я увидел, что подходил к дебаркадеру Марсельской дороги. Мне надобно было возвратиться в гостиницу за портфелем и вещами. Но я еще успел приехать на дебаркадер к поезду. На другой день в 11 часов утра мои поручения в Марсели были уже исполнены. Я поехал в Барселону, телеграфировал, ждать ли мне там поручения, до которого еще оставалась неделя с лишком, получил ответ, что могу возвратиться, и поехал в Лондон.

Я приехал в 7 часов вечера. Помня приказания моего патрона, я отправился со станции прямо в контору; она была, разумеется, пуста; я отдал сторожу записку о моем приезде, попросил отослать ее к мистеру Бриггсу, и поехал домой.

— Наделали вы мне хлопот, мистер Сеттембрини, — сказал дежурный клерк нашей конторы, входя ко мне через три часа. — Зачем вы ушли, не повидавшись со мной? Разве трудно было перейти из первой комнаты во вторую? Виноват, впрочем, и я вздремнул; вы должно быть пожалели разбудить меня; и точно: жаль было бы будить: я не спал всю ночь, подводя баланс, недоставало двух пенсов и я, начав проверку вчера в 5 часов вечера, нашел ошибку только в 57 минут 9 часа утра. Я был так утомлен, что не мог тогда заснуть, и весь день не мог. Не понимаю, как я сто раз, двести раз видел сложение двух немногосложных цифр и не замечал ошибки. От этого неверного итога и происходила ошибка в балансе. А сложение итогов, которых было 283, я произвел, как всегда, правильно. Вот в этом-то и состояла беда: искал ошибки в многосложном, трудном, а маленькое пропускал без внимания. Судите сам: возможно ли было предположить, что неправильно произведено сложение двух цифр, сумма которых составляет 2 фунта 15 шиллингов 8 пенсов, когда одна из двух сла- гаемых цифр равна 1 фунту? — Я дремал, сидя на диване; услышал как хлопнула дверь, вышел спросить, кто это; сторож сказал мне, что это хлопнули дверью вы, уходя. Я послал его догнать вас.

Вы уже были далеко. И зачем попался вам кэб с такой хорошей лошадейю.

Слушая его, я вполне понял, до какой степени упал я духом. Правда, я и в молодости был терпелив; но какого же терпения достало б у человека душевно здорового слушать все это, когда не только первые слова вошедшего показывали, что он имеет какое-то спешное поручение ко мне, но и самое появление его у меня в этот час уж свидетельствовало о чрезвычайной спешности сообщения, которое он должен был сделать. Пять раз я хотел прервать его многословие вопросом: «По какому же делу вы прислан ко мне?» Но лень было остановить. Он подивился еще тому, как пропускал ошибку в маленьком простом сложении, хоть сам уж объяснял причину, от которой произошло его невнимание к ней, и достиг наконец до дела, с которого следовало бы начать.

— Я послал с вашей запиской курьера к мистеру Бриггсу; курьер возвратился вот с этой запиской. Читайте:

Я прочел: «Жду мистера Сеттембрини. Генри Бриггс».

Я схватился за шляпу. — Мой посетитель продолжал:

— Вы понимаете, мистер Сеттембрини, что я решился ехать сам с этой запиской, чтобы торопить вас, а не мог же я уйти с дежурства, не заместив себя. К счастью, один мой помощник живет в самом Сити, в какой-нибудь четверти мили от конторы; послав за ним, я был уверен, что через десять минут он будет в конторе; но он был у своей тетки; а мое приказание курьеру было: не возвращаться без него; курьер поскакал за ним к тетке, а теток у него целых три; и та тетка; к которой поехал он, уехала с ним к другой тетке; курьер туда за ним; к счастью, застал его у этой тетки; таким образом и приехал он в контору. Я стал сдавать ему бумаги и телеграммы; он, как человек неопытный, спрашивал объяснений; я давал их, но он...

Но я уж успел одеться, потому не слышал продолжения, хотя повествователь гнался за мной по лестнице, желая посвятить меня во все подробности дела до конца.

О том, где теперь мистер Бриггс, не имел надобности ни писать он, ни спрашивать я. Он все вечера проводил в своем семействе и если, что бывало не часто, уезжал, провожая жену и детей на бал или в театр, об этом была извещаемая контора.

Он жил не за городом, как большинство князей Сити, а в своем доме близ Пиккадилли. Но этот дом в центре Лондона был сельская вила.

Меня ввели в кабинет мистера Бриггса.

— Вы рано вернулись, мистер Сеттембрини.

Я промолчал.

— Это потому, что вы рано поехали. Не унывайте. Через два года, вероятно даже раньше, вы найдете прием, какого заслуживаете. Я не ошибаюсь в предположении о цели вашей поездки?

— Нет.

— Я хотел тогда не давать вам отпуска, прежде чем пройдет надобность моя в вас. Это длилось бы, вероятно, несколько больше месяца. В месяц вы, может быть, дошли бы до мысли, что вам еще рано ехать.

— Не дошел бы.

— В таком случае, мне не в чем винить себя. Хорошо, по крайней мере, то, что я догадался дать вам поручение в Марсель; по крайней мере, вы избавлены от насмешек и, что обиднее насмешек, от сожалений. Надеюсь, вы будете хранить абсолютное молчание о том, зачем вы ездили в Арль. Думаете ли вы, что завтра в конторе будете бодрым, спокойным, как всегда? Если нет, скажитесь больным и сидите в своей комнате, пока окрепнете духом. Не мешает принимать лекарства. Не удивляйтесь, что я выказываю заинтересованность вами. Я сам испытал в молодости, что такое значит полюбить всей душой. Прощайте, я иду к семейству. — Он подал мне руку. — Не унывайте, через два года, вероятно и раньше, вы найдете себе в Арле хороший прием.

Я и мачеха, мы очень любили друг друга; ее дети мне были милы, как были бы братья и сестры, рожденные моей матерью; но я уже не был единственным сыном моего отца и с поступлением в контору уже не имел нужды в материальной поддержке от него; нравственных забот ему я не делал: он видел, что я скромный, благоразумный молодой человек, не поддамся никаким дурным увлечениям, да и не имею склонности к ним. А мои братья и сестры требовали постоянной внимательности отца к тому, чтобы они росли здоровыми, учились хорошо. Понятно, что мое положение в семействе стало через два, три года по моем поступлении в контору походило на отношения младшего брата к старшему и его жене, молодого дяди к племянникам и племянницам. На третьем году моей службы, глава нашей фирмы поручил мне заведывание делами совершенно посторонними кругу деятельности моего отца. Мне часто приходилось ездить в Ливерпуль, раза два я жил по нескольку недель в Глазго. Наконец, глава фирмы послал меня в Филадельфию и я оставался там более пяти месяцев.

А между тем сестры и братья мои подрастали; правда, сестры моей мачехи вышли замуж, но все-таки у нас становилось тесно при мне. А мачеха и отец привыкли к тому коттеджу в Кэмберуэлле, который занимали с самой свадьбы своей. — Когда я, прожив долго в Америке и видя, что проживу там еще довольно долго, написал отцу, что по возвращении поселюсь отдельно, он согласился; мачеха спорила с ним, писала мне, но должна была уступить основательности наших доводов; удерживать меня в коттедже значило бы стеснять моих младших сестер и братьев. — Это было на третий год после моей несчастной поездки в Арль.

Таким образом, я отделился от семейства и оно привыкло к тому, что моя жизнь идет особо от него.

Мать М-те Дюбеллэ постоянно переписывалась со мною. Сначала, ободряла меня, потом стала говорить, что ее дочь, в первое время после отказа мне молчавшая при ее заступничествах за меня, просит ее не упоминать при ней обо мне. Мать иногда преднамеренно, чаще по забывчивости, нарушала это желание дочери; при первом ее слове обо мне, дочь уходила. Мать привыкла не произносить при ней моего имени. Долго оно не слышалось в разговорах матери. Посторонние иногда вспоминали о том, как я привез овдовевшую М-те Дюбеллэ, прожил два месяца в Арле, стараясь устроить для нее жизнь по возможности хорошую; разумеется к похвале моей заботливости о ней прибавляли и другие похвалы мне. Она довольно долго переносила эти упоминания — не частые и не длинные — терпеливо. Но вот — на третьем году вдовства, через два года после отказа мне, она при одной из таких похвал резко сказала говорившей гостье: — «Вы ошибаетесь, это человек с грубыми чувствами, эгоист». Гостья замолчала, взглянув на нее с удивлением, с выражением порицания на лице. При новом таком же случае, она с усмешкой сказала: «Он был бы хорош, если бы не был человек низкой души», и стала едко осмеивать мою наружность (которая не была особенно некрасива в молодости), мои манеры (скромные, но не неловкие и ни мало не смешные), мой французский язык (очень чистый уж и тогда), мои понятия (честные, но не наивные, чуждые экзальтации, потому не представлявшие никакого справедливого повода для насмешек). Казалось, не будет конца этому потоку несправедливых сарказмов. Гости напрасно старались остановить ее. Им было тяжело. Одна из них пожаловалась на головную боль и встала. Другие были рады воспользоваться случаем тоже проститься. Это повторялось. Весь Арль говорил, что у М-те Дюбеллэ испортился характер. Все осуждали ее. Некоторые гости (старинные приятельницы М-те Вердьё; это были в те годы единственные гости М-те Вердьё и ее дочери) перестали посещать М-те Вердьё, не желая видеть ее дочь. Мать писала, что вероятно это подействовало на дочь: она стала молчать обо мне, как прежде. — Я давно утратил надежду. Но все-таки мне было новой горечью читать, что она смеется надо мною. Чем я заслужил насмешки? Еще больнее, чем огорчительность ее неприязни ко мне, была мне мысль, что она стала злою. Но скоро, она возвратила себе любовь подруг матери. Они увидели, что ее вспышки против меня были только симптомами нервного расстройства. Она оправилась от страданий, мучивших ее, и снова стала кроткой. Именно в этом и состояла одна из привлекательнейших особенностей ее характера: с чрезвычайной силой воли в ней соединялась кротость, никогда, кроме этого времени нервного расстройства, не изменявшая ей.

Вскоре после того, как огорчался, я был обрадован. Все эти

почти четыре года со времени смерти мужа М-те Дюбеллэ была печальна. Теперь ее мать написала мне, что она как будто возрождается душой. До той поры, она чуждалась общества, редко выходила даже к гостям матери; с своими прежними подругами вовсе не виделась: сказала им тогда, по приезде, что ей тяжелы их разговоры, и после того не принимала их. Теперь, она стала несколько изменять свой отшельнический образ жизни. Через месяц после того, как прекратила свои жестокие нападения на меня, М-те Дюбеллэ в первый раз согласилась отправиться с матерью и отцом на прогулку за город. Это была уединенная прогулка в рошу при вилле Au grand Bois, стоявшей тогда пустою. Ограда роши была заперта. Отец выпросил у заведывающего виллой особое разрешение входа в рошу. Они пробыли там очень долго, с своего обеда до ночи. Дочь ушла от отца и матери, гуляла и сидела одна. Но они были рады и тому. Она полюбила эту рошу, ездила туда каждый день, и не брала с собой отца и мать. «Одной мне лучше там», — говорила она. Без сомнения, она грустила там; но возвращаясь домой, была менее грустна, чем прежде. Так прошло недели две. Она перестала ездить в рошу. «Мне нет надобности облегчать свою грусть», — сказала она на замечание матери, что ей наскучило ездить в рошу. — «Вы видите, что я и без того теперь не грустна».

У меня была мысль, не должно ли считать злые нападения М-те Дюбеллэ на меня проявлениями ее раздражения против самой себя за то, что не может подавить в своем сердце влечение ко мне. Но время шло, и не было новых вспышек неприязни ко мне; если те порывы несправедливых нападений на меня были симптомами ее досады на себя за влечение ко мне, то значит затихла эта досада, т. е. исчезла и причина досады, влечение ко мне заглохло, заменилось равнодушием.

М-те Вердье стала писать мне, что начинает быть довольна дочерью: Элеонора охотно принимает прежних подруг; впрочем, они должны держать себя с нею осторожно: когда поддаются своей молодой веселости, она уходит. Через несколько времени, и этот остаток прежнего настроения души М-те Дюбеллэ исчез: мать ее писала, что она слушает веселую болтовню подруг, которой прежде не допускала. Ее здоровье, угнетенное продолжительной печалью, быстро улучшается, писала мать, бледность уже заменилась свежим цветом лица; на щеках появились нежные — еще слишком нежные, едва заметные — признаки возвращения румянца.

Когда упоминали при М-те Дюбеллэ обо мне, она говорила, что похвалы мне справедливы.

Однажды М-те Вердье сказала:

— Я напишу М-г Сеттембрини, что ты расположена к нему.

— Напишите, татап, что я очень благодарна ему за расположение ко мне; сказать ему это теперь будет, я надеюсь, безопасно

для него. Я уверена он давно стыдится оскорбительной для меня мысли, что я изменю памяти Жоржа. За что ж продолжала б я досадовать на человека, который так заботился обо мне? Да, я теперь могу сказать, что всегда была расположена к нему. Если б он жил в Марселе, мне было бы приятно повидаться с ним иногда.

— Я напишу ему, он приедет.

— О татап, татап, вы неисправимы.

— Я напишу ему.

— Как хотите. Но ехать сюда из Лондона не то, что из Марсели, не дружеское посещение, ровно ничего не значащее, а возобновление предложения мне. Я не думаю, чтобы он был так непроницателен, как вы, моя добрая татап.

— Ты запрещаешь ему навестить нас?

— Я? Запрещаю? Нимало. Какая мне надобность до того, куда он поедет, или не поедет? Это его дело, а не мое:

— Я напишу ему, чтоб он приехал.

— Пишите, пожалуй, но помните, что это будет ваше приглашение. М-те Вердые написала мне, что я могу приехать.

«Как она простодушна, в самом деле» — подумал я, и написал ей, что охотно приеду, когда буду иметь досуг.

— Видите, татап, М-г Сеттембрини стал благоразумен, — сказала М-те Дюбеллэ, когда мать прочла ей мое письмо: — Он найдет досуг приехать к нам, когда выдаст замуж младшую из дочерей, которых будет иметь со временем. Это будут красивые девушки, если будут похожи на его мать, черты которой наследовал он, потому надеюсь, у них не будет недостатка в женихах. Они выйдут замуж скоро; тогда, мне будет приятно видеть его в Арле.

— А если б он приехал теперь!

— То увидел бы, что не во всем хорошо следовать вашему совету, моя добрая татап; мне было б очень жаль, но — наши отношения, которые благодаря знанию, что никогда не увидимся, стали так хороши, испортились бы. И серьезно говоря, татап, я не могу простить ему ту обиду, что он воображал, будто я изменю памяти Жоржа.

— Ты полагаешь, Элеонора, что никогда не выйдешь замуж — я не говорю за М-г Сеттембрини, но вообще?

— Выйду, или не выйду я не знаю, потому что нет человека, который мог бы сказать о себе: «я никогда не унижу себя в собственном мнении». Но то я знаю, что если выйду замуж, то не за М-г Сеттембрини. — Матап, будем откровенны. Правда, что я одна из первых красавиц Арля?

— Так говорят, Элеонора.

— Правда, что когда я была девушкой, многие приезжали из Марсели любоваться на меня?

— Ты сама видела их, о чем же спрашивать?

— Думаете вы, что если б я захотела бывать в Марсельском

обществе, то нашлись бы для меня женихи из молодых людей высшего круга?

— Меня могло бы обманывать материнское чувство; но все здешнее общество говорит так.

— Матап, если б я изменила памяти Жоржа, я была бы женщиной низкой души; а такие женщины ищут богатства и знатности. Вы понимаете теперь, что если б я вышла замуж, то не за М-г Сеттембрини.

М-те Вердые поняла, что действительно так.

Не скажу, что я несколько не огорчился, читая письмо М-те Вердые. Но собственно говоря, что ж нового для меня было в том, что М-те Дюбеллэ никогда не будет моей женой? Потому, огорчение было слабое и мимолетное.

После этого решительного объяснения с дочерью, М-те Вердые перестала говорить ей обо мне. М-те Дюбеллэ быстро оправлялась. Румянец ее становился ярким, сохраняя свою нежность.

Легко было предугадывать, что М-те Дюбеллэ скоро перестанет жить затворницей, что веселье и счастье подруг станет оживать ее, что они завлекут ее бывать в обществе, что окруженная в нем поклонниками, она полюбит которого-нибудь из них. Я радовался.

Разумеется, мои ожидания оправдывались. М-те Дюбеллэ стала часто бывать в семейных кругах подруг. И довольно скоро, М-те Вердые написала мне, что подруги вынудили у Элеоноры обещание участвовать в поездке довольно многочисленного общества в парк Виллы Au grand Bois, что эта прогулка назначена на воскресенье, что от нее должно ожидать очень хорошего действия на оживление души Элеоноры. Мать ее обещалась написать мне о результатах прогулки послезавтра. Понятно, что я с нетерпением ожидал этого письма.

Мне приходилось ждать почти неделю: письмо М-те Вердые было написано во вторник, получено мною в четверг. То, которое пошлет она в понедельник, будет получено мною в среду. С пятницы, я уже начал раздумывать; удержусь ли я от намерения телеграфировать М-те Вердые в субботу, чтоб она немедленно по возвращении с прогулки, поздно вечером в воскресенье, или хотя бы даже ночью, сообщила мне телеграммой, какое впечатление произвело на нее то, что было на прогулке. Я сам понимал, что сделаю этим себя смешным в глазах М-те Дюбеллэ и, что еще важнее, могу испортить наши отношения. Но я думаю, что все-таки я исполнил бы свою безрассудную мысль.

К счастью, мне не понадобилось испытать на деле твердость моего решения остаться терпеливым. Утром в субботу, я получил от М-те Вердые письмо сообщавшее мне факты совершенно неожиданные не только мною или простодушной М-те Вердые, жившей в маленьком кругу своих знакомых, мало знавшей новости, но и никем в Арле, никем в самой Марсели.

Дело произошло в Марсели, но отозвалось и в Арле таким шумом, что приятельницы М-ме Вердьё трепетали за своих сыновей.

В среду, в 2 часа дня, префект департамента Устий Роны, М-г Бильо, поехал к вождю коалиционной оппозиции департамента Гастону де Форкалькье, одному из знатнейших и богатейших вельмож Прованса, жившему теперь в своем марсельском доме. Через полчаса, префект вышел и помчался в дом префектуры с такою безумною быстротой, что лошади едва не раздавили нескольких человек. В 4 часа, светское общество Марсели узнало, что дочь префекта, М-ше Леония Бильо, которую поутру видели здоровой, веселой, внезапно занемогла. В половине 5-го, светскому обществу Марсели стало известно, что единственный сын и наследник Гастона де Форкалькье, Ремон де Форкалькье, уехал из Марсели неизвестно куда или хотя бы по какому направлению: к северу ли по железной дороге, или на юг, восток, запад, морем. К вечеру, говорила об этих фактах вся Марсель, а вскоре после начала вечера, говорил и Арль. Комментарии были почти излишни. Само собой было ясно, что префект ездил к Гастону де Форкалькье требовать женитьбы его сына на М-ше Леонии Бильо и получил решительный отказ, что Леония Бильо страстно любила Ремона де Форкалькье и что он если не прежде, то теперь отвечал на ее любовь пренебрежением. Если бы люди хотели ограничиваться теми выводами из фактов, которые и достоверны и достаточны для разрешения серьезных вопросов о деле, то не было бы в Марсели и в Арле споров о том, как понимать дело, изумившее всех; но большинство людей непременно хочет в подобных случаях знать, была или не была любовницей молодого человека покинутая им девушка. По этому вопросу, общество распалось и в Арле, как в Марсели, на две партии, — общество честных людей, а не бонапартистов, — замечала М-ме Вердьё: если бы перегрызлись между собой бонапартисты, это было бы приятно видеть, но бонапартисты говорили все в один голос, что это дело — интрига врагов порядка, выдумывающих клеветы на М-г Бильо; Ремон де Форкалькье похищен своими политическими друзьями и они держат его где-нибудь под стражей, чтоб он не опроверг гнусную выдумку, ставящую его имя в связь с именем М-ше Бильо. Он и она почти не были знакомы; часто ли встречались они в обществе? В обществе его отца не принят ее отец, в обществе ее отца никогда не бывал он. Ремон де Форкалькье сказал бы правду. Он, как и его отец, враг правительства, но честный человек. Префект ездил предостеречь его отца от некоторых замыслов против правительства, доказать, что они известны правительству и будут наказаны, если не будут покинуты. Правительство желает отвлечь честных людей от злонамеренных, орудиями которых служат они; оно желало бы иметь честных людей своими союзниками, а не врагами. Болезнь М-ше Бильо — случайная; это про-

студа. — Бонапартисты, ссора между которыми была бы радостью для честных людей, остались шайкой разбойников, действующей единодушно по команде. Но честные люди перессорились между собой: и легитимисты, и орлеанисты, и республиканцы. Одни говорили, что Леония Бильо благородная девушка, вовсе не похожая и характером, как и чертами лица, на гнусного человека, замучившего ее мать, от которой наследовала она и русые волосы, и голубые глаза, восприняла честные убеждения, возвышенные правила; что поэтому виноват Ремон де Форкалькье. Другие, признавая благородство души М-ше Леонии Бильо, говорили, что Ремон де Форкалькье человек безусловно честный в своих отношениях к женщинам; он не мог быть обольстителем и Леония Бильо не была его любовницей; а может ли молодой человек быть подвергаем порицанию только за то, что не отвечал любовью на любовь девушки? Казалось бы, что это решение вопроса должно было нравиться защитникам и защитницам Леонии Бильо; но нет, лишь меньшинство принимало его; огромное большинство увлекалось своим желанием сочувствовать несчастью благородной девушки до такой горячности, что непременно хотело считать ее любовницей человека, нежелание которого жениться на ней будет по всей вероятности причиной ее смерти. Защитники Ремона де Форкалькье горячились не хуже этого: в своем усердии оправдывать молодого человека, действительно симпатичного и до той поры пользовавшегося безукоризненной репутацией, они делали жертвой обольщения вместо покинутой любовницы бежавшего от нее любовника: Ремон де Форкалькье наследник 600 000 франков дохода; отец Леонии Бильо заманил богатого вельможу; Леония сама не понимала к чему ведет ее отец; и кто скажет, что он сделал ее любовницей Ремона де Форкалькье только в надежде, что благородный молодой человек не откажется загладить свой проступок браком? Продавший родину посовестьится ли завлечь богача в любовную связь с дочерью, чтобы взять выкуп? Негодяй мог рассчитывать, что отец Ремона де Форкалькье даст миллион за то, чтобы отец девушки молчал о деле, бросающем дурную тень на любовника ее обольстившего ль или обольщенного, но вступившего в связь с девушкой без намерения жениться на ней.

Молодые люди и в Арле, как в Марсели, перессорились между собой в горячности споров обольстил или обольщен Ремон де Форкалькье; матери их трепетали, в ожидании дуэлей.

Но на другой день к вечеру, захохотал над собой Арль, как двумя часами раньше захохотал над собою Марсель. Оказалось, что ровно ничего романтического не было ни в одном из трех фактов, на которых молва построила трагедию. Бонапартисты гнали, это само собою разумеется; но их выдумки были все-таки менее далеки от истины, чем вымысел молвы. На другой же день после того, как увлеклись им, честные люди в Марсели сообразили, что дело объясняется очень просто. За три месяца перед тем, умер

один из депутатов Марсели. Теперь были назначены выборы нового депутата. Префект ездил к вождю оппозиции предложить тайную поддержку правительства против официального кандидата кандидату оппозиции, кто бы ни был он, легитимист, орлеанист или республиканец, лишь бы не был он Тьер. Гастон де Форкалькье отвечал отказом, и Ремон де Форкалькье, помощник отца в политических делах, поехал, как уполномоченный оппозиции предложить кандидатуру Тьеру. Тайно уехал он потому, что оппозиционный комитет получил уведомление о приказании задержать его под каким-нибудь предлогом. И никакие приезды ль, отъезды ли его не могли иметь никакого влияния на здоровье Леонии Бильо: он и она действительно почти вовсе не были знакомы. Леония Бильо в 12 часу скушала три порции мороженого; винить ее за это в неосторожности было бы несправедливо, потому что дамы и девушки, бывшие тогда с ней на приморском конце Promenade de Prado под верандой павильона Флоры скушали по четыре порции мороженого и больше, и остались здоровы; день действительно был знойный. Но с моря налетел холодный шквал, и Леония Бильо простудилась, потому что в это время еще не прохладилась от зноя, под которым ехали она и ее подруги; если б она съела шесть порций мороженого, как многие из них, то, вероятно осталась бы здорова подобно им.

Молодые люди Арля, перессорившиеся между собой из-за вопроса, обольстил ли Ремон де Форкалькье Леонию Бильо, или был завлечен в связь с нею отцом ее, стыдились смотреть друг на друга. Поездка всем обществом в воскресенье была невозможна. Матери и сестры молодых людей отложили ее до следующего воскресенья: к тому времени этот вздор забудется.

В следующую пятницу я получил новое письмо от М-ше Вердье. Поездка всем обществом в парк виллы Au grand Bois улажена. Невозможно сомневаться, что она будет очень весела для молодежи: смешная ссора подновила дружбу. Один из распорядителей поездки — Ремон де Форкалькье; он возвратился в понедельник с отказом Тьера принять кандидатуру. Все в Арле дивятся тому, что он захотел быть участником этой поездки: он человек вовсе не того круга. По политическим делам он был знаком с некоторыми из мужчин этого общества, но с женами, сестрами или дочерьми он не знакомился, если не называть знакомством то, что он раскланивался, встречаясь на улицах; в домах у них он никогда не бывал, ни у одного из этих семейств.

Я опять было волновался желанием телеграфировать в субботу М-ше Вердье, чтоб она уведомила меня телеграммой о впечатлении, какое произведет на нее то, что будет она видеть во время прогулки. И опять не пришлось моему рассудку удостовериться опытом, может ли он удержать меня от этой неосторожности: в субботу, когда я, возвратившись из конторы, сидел с книгой¹ в руках и не читал ее, углубившись в размышление: «телеграфи-

ровать или не телеграфировать», мне подали телеграмму от М-те Вердье, обещающую, что в ночь с воскресенья на понедельник мне будет прислана новая телеграмма.

В 5 часов утра понедельника, меня разбудили, чтобы отдать телеграмму. Она состояла из четырех слов: «Я в восторге. Вердье».

Итак, я был достаточно подготовлен ждать очень хороших известий. Но то, что прочел я в письме М-те Вердье, помеченном «Арль, 5 июля 1858, понедельник, 3 часа пополудни», превзошло все мои ожидания.

«Радуйтесь вместе со мною, мой друг, — так начинала М-те Вердье свое письмо! — Элеонора — невеста Ремона де Форкалькье. Я пишу это, проводив мать жениха, приезжавшую к нам сделать от имени сына формальное предложение. Свадьба назначена через две недели, в воскресенье 18 июля».

Вот как это произошло.

Ремон де Форкалькье, возвратившийся в Марсель в понедельник, приехал в среду в Арль и вызвался в собрании знакомых ему по политическим делам молодых людей быть распорядителем поездки арльского общества в парк виллы Au grand Bois, назначенной в воскресенье. Это было вечером. Потому, делать визиты в тот же день он не мог. В четверг утром он приехал в Арль делать визиты. Он сделал их всем 23 семействам, условившимся ехать в воскресенье в парк виллы Au grand Bois. Понятно, что визиты его не могли длиться более, как по нескольку минут. И у М-те Вердье он пробыл минут пять, не больше. Он не говорил М-те Дюбеллэ ничего, подобного комплиментам. Он лишь выразил в простых, глубоко прочувствованных словах свое уважение к ней за годы, проведенные ею в печали. Только свое уважение к ней за эти годы печали: он даже не прибавил выражения удовольствия, что она возвращается к жизни в обществе. — В пятницу он пробыл в Арле весь день, условливаясь о подробностях прогулки в собрании молодых людей и некоторых отцов и матерей семейств, и отдельно с некоторыми семействами. Он посетил в этот день десять или двенадцать семейств. Теперь, его посещения могли быть, и были, довольно продолжительны: четверть часа, полчаса, даже несколько больше. Он был и у М-те Вердье, вечером. Пробыл с полчаса. Разговор его с М-те Дюбеллэ был серьезный, без всяких любезностей, на которые он был так щедр в разговорах с другими молодыми дамами. — То же самое, было в субботу. Опять он провел в Арле весь день, опять побывал у десяти или двенадцати семейств, — отчасти у тех же, как вчера, отчасти у других. Опять пробыл вечером с полчаса у М-те Вердье, и разговор его с дочерью был попрежнему серьезный без всяких любезностей. — «Мне стало казаться, что в этом различии его разговоров с Элеонорою от разговоров с другими молодыми женщинами есть что-то очень важное и очень высоко

ставящее молодую даму над другими, — писала М-ме Вердьё: — Но я умела промолчать об этом, когда после его посещения виделась с моими знакомыми. Не сказала даже Элеоноре, что я заметила это различие, и как я думаю о нем». Ее дочь держала себя с ним так, как будто он человек пожилых лет, какой-нибудь сельский хозяин, негоциант, или ученый, заинтересованный исключительно своими деловыми занятиями, чуждый всякой мысли о том, чтобы нравиться женщинам. — Утром в воскресенье, он посетил те из участвовавших в прогулке семейств, у которых не был в пятницу и субботу. Посетить еще раз хоть одно из семейств, у которых он был после своего первого визита, он не имел времени: ему надобно было в 2 часа отправиться в парк виллы Au grand Bois, чтобы наблюдать там за окончанием приготовлений к приему общества. Потому, не был он в это утро и у М-ме Вердьё. Она не могла составить себе определенных понятий о том, чего надеяться от прогулки; но предчувствовала, что будет радоваться за дочь; потому послала в субботу телеграмму, обещавшую мне, что она поспешит передать мне свою ожидаемую радость, порадовав меня.

В парке Ремон де Форкалькье держал себя относительно М-ме Вердьё и ее дочери точно так же, как в Арле: не оказывал им в своей внимательности никакого предпочтения перед другими дамами, подходил к ним не чаще, говорил с ними не дольше. Тон его разговоров с М-ме Дюбеллэ был тот же самый, как при его посещениях дома ее матери в пятницу и субботу: серьезный, почтительный, скорее грустный, чем веселый.

Распорядитель праздника в парке, Ремон де Форкалькье не имел свободы танцовать. Он не мог ни на минуту быть уверен, что не понадобится ему итти оказать какую-нибудь услугу той или другой даме, отдать какое-нибудь непредвиденное распоряжение прислуге. Но минут и даже целых четвертей досуга у него было много. Когда думал, что досуг продлится несколько минут, он подходил к какой-нибудь из молодых дам не танцовавших в это время и подавал ей руку, прося сделать ему честь пройти с ним по густой аллее, направлявшейся от здания виллы, около которого группировалось общество, к лесу, имя которого служило названием виллы. Общество и прислуга знали, что когда его нет на поляне и лужайках, прилегавших к переднему фасаду здания виллы, то он в этой аллее, так что никогда не было затруднения тотчас же найти его.

М-ме Дюбеллэ вовсе не хотела танцовать, но должна была обещать три первые кадрили мужьям своих ближайших подруг. Чтобы не давать обещания на другие танцы, она еще в пятницу сказала, что будет танцовать только эти три кадрили с людьми, отказать которым не имеет права.

Уж близки были сумерки, когда начиналась пятая кадрили на паркетe, которым покрыл распорядитель праздника часть

поляны перед зданием виллы. М-м Дюбеллэ, сидевшая с матерью под одним из боскетов, окаймлявших поляну, встала, как делала при четвертой кадрили и при вальсах между кадрилями, чтобы подойти поближе посмотреть на танцующих. Ремон де Форкалькье шел в том же направлении; увидев, что идет она, попросил и ее, как просил прежде того десять или пятнадцать других молодых дам, сделать ему честь пройти с ним по аллее. Она приняла предложение; они пошли в аллею. Когда танцевали последнюю фигуру пятой кадрили, Ремон де Форкалькье и М-ме Дюбеллэ возвратились из аллеи на поляну. Так делал он и в каждую из первых четырех кадрили. Все время кадрили было для него сравнительно спокойное. Каждую из четырех прежних он тоже всю от начала первой фигуры до середины или конца последней проводил в аллее с той дамой, которую просил оказать ему эту честь. Раза три, четыре во время кадрили ходила к нему прислуга спросить о чем-нибудь, но это были обыкновенные распоряжения о сигарах для мужчин, о фруктах и тому подобных угощениях для дам; ему не было надобности выходить из аллеи для личного надзора за их исполнением.

И во время пятой кадрили, которое провел он в аллее с М-ме Дюбеллэ, ходили к нему раза три или четыре официанты. Словом, отношения Ремона де Форкалькье к его даме во время пятой кадрили должны были быть те же самые, как к дамам, с которыми разговаривал он в аллее в первые четыре кадрили. Таким образом, никто не придавал никакого значения его разговору в аллее с М-ме Дюбеллэ; не придавала даже и мать ее. Он и М-ме Дюбеллэ возвратились из аллеи такими же спокойными, как пошли в нее. Он занялся своими хозяйскими обязанностями с прежней внимательностью; М-ме Дюбеллэ с прежней терпеливой любезностью слушала болтовню подруг и их молодых родственников и попрежнему сидела, большею частью, подле матери, стараясь развлекать ее, по правде говоря несколько скучавшую, подобно другим пожилым дамам.

Несколько раз в продолжение этой второй половины праздника, когда танцевали уже в зале виллы, Ремон де Форкалькье подходил к М-ме Вердые и ее дочери, сидевшей подле матери. Степень внимательности его к ним оставалась прежняя, то есть такая же, как к другим дамам. Тон разговоров с ними был тоже прежний. В два часа ночи, пожилые дамы решительно потребовали возвращения по домам: все равно, они и мужья их уже спят, то лучше же спать дома на постелях, чем здесь, сидя на диванах или стульях. Молодежь протестовала, но, как всегда и во всем, была бессильна против воли старших.

Обществу село в экипажи, ехать по домам. Дорогой оказалось, что М-ме Вердые справедливо не присоединялась к шумному хору других пожилых дам, утверждавших, что их неодо-

лимо клонит ко сну: она и не думала дремать, всю дорогу передавала мужу и дочери свои наблюдения и впечатления. Должно полагать, что в ее рассказах не было ничего особенно интересного, потому что муж, по приезде домой признался, что всю дорогу дремал; но несомненно, что и не были особенно скучны, потому что дочь слушала их внимательно, часто делала вопросы, поддерживавшие ход рассказов, делала свои замечания, всегда кстати: она не дремала, это было ясно.

По приезде домой, М-ме Вердьё, как делала всегда перед своим удалением на сон, проводила дочь до ее спальни и обняла ее на прощанье до утра. Но дочь вместо того, чтоб на ее слова «Спокойной ночи, Элеонора» отвечать словами «Спокойной ночи, татап», сказала:

— Матап, Ремон де Форкалькье сделал мне предложение, я приняла; вы извините М-ме де Форкалькье, если завтра — то есть уже ныне — утром не приедет она сама просить у вас моей руки от имени сына. Ей несколько нездоровится; она желает быть у вас сама, но если будет чувствовать себя не в силах ехать, то пришлет вам только письмо с сыном. М-г Гастон де Форкалькье уехал на-днях в Париж и возвратится не ранее вторника, а М-ме де Форкалькье и Ремон не хотят отлагать дело для того только, чтобы вместо матери в случае если она все еще не будет выходить из комнаты, ехал переговорить с вами от имени сына отец. Действительно, не все ли равно приехать и сыну, когда вы из письма матери будете видеть, что она и отец вполне одобряют намерение сына? Согласие отца получено по телеграфу. М-ме де Форкалькье приложит к своему письму эту телеграмму. Теперь, спокойной ночи, татап.

М-ме Вердьё стояла без движения и голоса, окаменевшая от изумления. Дочь поцеловала ее и тихо пошла в свою комнату. Мать смотрела молча; проговорила наконец:

— Элеонора, я войду к тебе спрошу, как же это.

Дочь отворила дверь своей комнаты. М-ме Вердьё все еще стояла окаменевшая.

Дочь взяла ее за руку, ввела в свою комнату, посадила.

— Вы хотите знать, татап, как это было? Неожиданно для меня, но совершенно просто, так что после первой минуты удивления можно найти это замечательным только по своей неожиданности, а не потому, чтоб тут было что-нибудь в самом деле удивительное. Я видела, и вы сами видели, что мы очень понравились друг другу. Что ж в этом особенного? разве и он и я не такие, что можем нравиться друг другу?

— Но так неожиданно! — машинально повторила М-ме Вердьё то слово дочери, которое соответствовало ее удивлению.

— Правда, татап; но и в этом нет ничего особенного. Предложения очень часто бывают неожиданностью.

— Когда ж он сделал тебе предложение?

— Во время нашего разговора в аллее, когда была пятая кадрийль.

М-те Вердые сидела, не умея найти нового вопроса по растерянности мыслей от множества недоумений.

— Теперь вы знаете все, татап, я провожу вас в вашу комнату.

Она помогла матери встать, повела в ее комнату. М-те Вердые двигалась, как машина. Дочь посадила ее, наклонилась, поцеловала и пошла из комнаты.

— Элеонора, да как же получена телеграмма от его отца?

Дочь остановилась.

— Он после нашего разговора написал телеграмму матери, послал на станцию в Арль, оттуда послали ее в Марсель; мать отправила телеграмму на Марсельскую станцию; там послали ее в Париж; через час получили ответ из Парижа, послали эту телеграмму отца к матери, мать прислала ее в Арль; из Арля принесли ее к нам в парк. Вы видите, татап, все это было очень просто. Спокойной ночи.

Она ушла. Мать только разве минут через пять заметила, что вовсе не для чего было спрашивать о том, как получен ответ отца, потому что и сама понимала, как.

Посидев еще сколько-то времени — вероятно довольно долго, как она заключила потом из того, что вскоре после услышала три удара стенных часов, М-те Вердые пошла к дочери. Но дверь комнаты дочери была по обыкновению заперта на время сна. М-те Вердые прислушивалась: быть может дочь еще не спит; даже без сомнения, не спит еще: возможно ли скоро уснуть, получив такое предложение? Но нет, дочь дышала медленно и тихо; ни малейшего шороха не было; дочь спала. («А она не спала, как утром сказала мне, — поясняла М-те Вердые: — она легла, но не могла уснуть, и прекрасно слышала, как я подошла к двери, переминалась, отошла, как села на диван подле ее двери, только не хотелось ей говорить со мною, а хотелось думать. Она всю ночь думала, сказала она мне потом»). М-те Вердые подивилась, как могла дочь заснуть, отошла от двери, присела на диван, посидела, размышляя, как понять это дело, и все не понимая ничего; вспомнила наконец, что надобно сообщить отцу о неожиданном, изумительном счастье дочери, пошла в комнату мужа, разбудила его; потерял и он голову от удивления и радости; вспомнила она и обо мне, что обещала немедленно послать телеграмму; написала телеграмму, муж понес на станцию.

Так и не могла М-те Вердые заснуть часов до 8; уснула крепко, гораздо позднее того, чем привыкла вставать; последняя мысль ее была, что обед не поспеет к 4 часам. Во сне она видела, что печет пастет вроде страсбургского, величиною во весь

паркет, на котором танцовали в парке, и дивилась, как легко повертывает она такую громаду, будто маленький бисквит и откуда взялась такая большая печь, что влезет в нее такая громада. На этом, действительно удивительном, обстоятельстве разбудила ее дочь, сказала, что надобно одеться: через полчаса приедет М-те де Форкалькье.

До того ли уж тут было, чтобы спрашивать дочь? — «Давно я считаю себя старухой и смолоду не была щеголиха, — писала М-те Вердые: — но не хотелось же встречать уродом такую знатную даму». Дочь помогала ей наряжаться. Сколько было хлопот; особенно с браслетом была беда: не застегивается! — потолстела рука с тех пор как был он надет в последний раз; до крови исцарапала себе руку М-те Вердые; но так и не успела застегнуть браслет, как следует, когда подъехала карета; бросилась М-те Вердые встречать будущую родственницу, а сама думает: «Ох, не свалился бы браслет! Стыд тогда будет: рука под ним исцарапана».

Она так устала, писавши так много, что уж не могла продолжать рассказа с такой же подробностью, обещала рассказать все обстоятельно в следующем письме завтра, а теперь лишь прибавляла, что была совершенно очарована любезностью М-те де Форкалькье, и что М-те де Форкалькье, вошедши, обняла Элеонору со словами: «Вы спасительница моего сына», и что М-те де Форкалькье просидела часа полтора, простилась, ушла, села в карету и когда слуга захлопнул дверцу, она вдруг рассмеялась, отворила дверцу, вошла опять в зал, все смеясь, попросила сестр М-те Вердые и Элеонору, села сама и сказала: «Совсем забыла! так было и уехала, не передав предложения моего сына. М-те Вердые, — продолжала она торжественно: — прошу руки вашей дочери для моего сына. Вы согласны, М-те Вердые?» М-те Вердые, снова повергнутая в смущение мыслей формальным заявлением удивительного предложения, нашлась только сказать: «Ох, ничего не понимаю!» — «Понимать вовсе и нет надобности, — сказала М-те де Форкалькье: — Я вижу, вы согласны и довольны этого. Теперь прощайте до завтра, М-те Вердые; вам надобно уснуть, как видно по вашему лицу; а мне так нездоровилось, что я через силу сошла с лестницы, плохо помню, как посадил меня Ремон в карету, как перенесли меня из кареты в купе нашего вагона. Со мною было от слабости что-то похожее на обморок. Приехав сюда я оживилась; но, вероятно, мне придется, по приезде домой, лечь в постель. Слишком много горя было у меня в эти полторы недели; измучило оно меня. М-те Вердые и вы, Элеонора: Ремон приедет за вами завтра утром, вы проведете день у нас и не осудите меня, если я прийму вас, лежа в постели».

Но теперь, она казалась здоровой. Так подействовала на нее радость видеть Элеонору. Только что значат ее слова «вы спа-

сительница моего сына»? Неужели же сын сказал ей, что застрелится, если получит отказ? и неужели мог опасаться отказа он, блестящий молодой человек такой знатной фамилии, единственный сын, наследник 600 000 франков годового дохода? Непостижимое дело, непостижимое!» Этим восклицанием кончала добрая М-те Вердье свое письмо.

В тот же день, появились в арльских и марсельских газетах известия о том, что помолвлены Ремон де Форкалькье и Элеонора Дюбеллэ. (Само собою разумеется, что с того времени, как М-те Дюбеллэ стала бывать в обществе, я читал арльские и марсельские газеты).

Во вторник приехал отец Ремона де Форкалькье, в среду был дан бал помолвки. Здоровье М-те де Форкалькье поправилось настолько, что она могла оставаться в приемных комнатах до 11 часов вечера. — После того день за день давали балы в честь жениха и невесты марсельские аристократы и миллионеры. Начиная с пятницы, М-те де Форкалькье бывала на балах; ее здоровье совершенно восстановилось, как видно было из того, что на бале в субботу она оставалась до самого конца.

Я получал через день длинные письма от доброй М-те Вердье; разумеется, они были коротенькими, наивными ребяческими эскизами, сравнительно с великолепными картинами балов, которыми наполнялись столбцы марсельских газет (читать арльские уже не стоило).

Прошла неделя.

Когда я во вторник через неделю после помолвки М-те Дюбеллэ и Ремона де Форкалькье вошел с докладом к мистеру Бриггсу (я уж с год имел постоянные доклады у него по вторникам и пятницам), он сказал:

— Особенно важных дел нет?

Я отвечал, что нет; все дела моего нынешнего доклада так незначительны и просты, что собственно говоря, не нуждаются в его рассмотрении; нужна только его подпись на некоторых бумагах.

— В таком случае, отложим дела и перейдем в ту комнату; вы будете мой гость, мистер Сеттембрини.

Мы перешли в комнату за рабочим кабинетом, конторскую гостиную мистера Бриггса.

— Скажите, что нового в Арле?

Едва ли необходимо замечать, что мистер Бриггс не переставал интересоваться моими арльскими отношениями и по временам спрашивал меня о них. По его вопросу я кратко характеризовал положение дел в Арле. Он, выслушав, говорил: «Теперь займемся нашими здешними делами». После того разговора, который был у меня с ним в его доме по моем возвращении из Арля, когда он ободрял меня, я ни разу не слышал от него ни слова о том, как он понимает дальнейший ход отношений

М-те Дюбеллэ ко мне. Теперь, как я видел, по приглашению перейти в его конторскую гостиную, будет иначе. — Итак, он, как я говорил, начал разговор своим обыкновенным вопросом «Что нового в Арле?»

— В среду был в марсельском доме Гастона де Форкалькье бал помолвки его сына, Ремона де Форкалькье, с М-те Элеонорой Дюбеллэ.

— Вот именно об этом я и хотел спросить вас, как понимать этот факт, совершенно различный от того, что я считал несомненным. Я узнал о их помолвке случайно, из письма нашего марсельского корреспондента, упомянувшего, почему успел он заключить вечером в пятницу все те сделки, которые, как он думал, займут у него утро субботы часов до двух: все те люди, которых надобно было ему видеть, собрались на бале у него в честь Ремона де Форкалькье и Элеоноры Дюбеллэ, жениха и невесты. Скажите, что это такое?

Я кратко передал мистеру Бриггсу рассказ М-те Вердые о том, как дочь ее стала невестой Ремона де Форкалькье.

Мистер Бриггс глубоко задумался; я выкурил половину предложенной им сигары, он все еще молчал; и если б я не привстал, чтоб подвинуть к себе пепельницу, он, вероятно, оставался бы погружен в свои мысли очень долго. При моем движении он встрепенулся.

— Мистер Сеттембрини, потрудитесь дернуть сонетку; вы моложе меня летами; притом вы уж встали.

Вошел его личный слуга, живший при конторе.

— Потрудитесь попросить сюда начальника нашей французской корреспонденции.

Вошел начальник отдела нашей французской корреспонденции.

— Прошу сесть, мистер Гэрдинер. Можете ли вы сказать без справок, была или не была в прошлый понедельник, 5 июля, или в следующие дни переведена в счет конторы из французского банка сумма облигаций Орлеанской дороги, дающая ровно 3000 франков дохода?

— Такой суммы не было переведено; это я могу сказать с уверенностью.

— Мне самому казалось так; но, мистер Гэрдинер, потрудитесь принести сюда книгу, пересмотрим вместе с вами для полной достоверности.

Мистер Гэрдинер ушел. Мистер Бриггс обратился ко мне.

— Поезжайте в редакцию Times'a; скажите, что я прислал вас к мистеру Дилену; он примет вас; попросите у него ту телеграмму из Лиона, в которой говорилось о генуэзцах в Неаполе. Он должен помнить ее, мы говорили тогда о ней довольно долго. Наш разговор был вечером в среду 6 июля, а накануне вечером мы тоже виделись, и тогда еще не было ее; потому она была или от 6 июля, или не ранее, как от 5-го.

Мы обменивались депешами с Times'ом. Мистер Дилен был тогда главным редактором Times'a. Он знал меня лично.

— Помню эту лионскую депешу, как не помнить, — сказал он на мои слова о телеграмме, надобной мистеру Бриггсу. — Мы тогда думали, что это или фантазия слишком пылких врагов правительства Луи Наполеона, утешающих себя грезами о несуществующих заговорах, или продукт какого-нибудь полицейского, слишком усердствующего выдумывать заговоры. Теперь, как вижу, мистер Бриггс находит основание предполагать, что в этом странном известии была хоть маленькая доля правды. Попросите его при возвращении депеши сделать пометку, не будет ли мне надобно послать в Лион одного из наших лучших корреспондентов, путешествующего теперь по французским Альпам для отдыха, который никогда не бывает надобен ему.

Я привез лионскую депешу Times'a мистеру Бриггсу. Он встретил меня словами: «Привезли, давайте сюда и отправляйтесь опять к мистеру Дилену с просьбою о разрешении мистеру Джеррольду принять от меня поручение, по которому понадобится ему прожить несколько дней в Марсели. Он теперь охотится где-то во французских Альпах или восточных Пиренеях, так ли или иначе, неподалеку от Марсели. — Дело в том, мистер Сеттембрини, что мы с мистером Гэрдinerом пересмотрели наши книги, начиная с 5 июля, дня возвращения миссис Дюбеллэ из парка; я навел справки в английском банке, во французском банке, и теперь могу сказать достоверно: миссис Дюбеллэ до сих пор не возвратила нашей фирме данного ей капитала. Это важный факт. Исследовать дело становится необходимым. Я надеюсь, мистер Дилен согласится на мою просьбу. В согласии мистера Джеррольда я уверен, потому что это поручение очень понравится ему».

Я снова поехал к мистеру Дилену. Он сказал, что известит мистера Джеррольда о поручении мистера Бриггса, что именно мистера Джеррольда он хотел послать в Лион и что теперь предоставляет самим мистеру Джеррольду и мистеру Бриггсу судить, нужна ль эта поездка.

Я возвратился к мистеру Бриггсу. Он сказал:

— Мне надобно прочесть письма миссис Вердье, начиная с того, в котором находится первое сообщение вам о плане поездки арльского общества в парк виллы Au grand Bois. Отберите также те из прежних за нынешний год, которые не совершенно пусты. Источник сведений, без сомнения, очень плохой. Но другого пока нет, то надобно воспользоваться хоть им. Вы отвезете эти письма ко мне на дом. И приедете ко мне в 10 часов. Я до того времени, вероятно, успею прочесть их. Тогда, скажу вам мое мнение. Теперь, замечу только, что до возвращения Ремона де Форкальке из загадочной поездки дело отношений M-me Дюбеллэ к вам шло совершенно так, как предвидел я, и предвидел бы на моем

месте каждый понимающий жизнь сердца. Да, мистер Сеттембрини, в самой поездке вашей в Арль через полгода по смерти Жоржа Дюбеллэ, ход дела был тот самый, какому следовало быть, только более медленный, чем я рассчитывал, потому что М-те Дюбеллэ имеет чрезвычайную силу воли. Но природы нельзя одолеть никакой силой воли; можно только задерживать победу природы, неотвратимую ничем, кроме смерти. Потому-то вдовы в Индии и сжигали себя, чтоб не изменить памяти мужа. Все шло, как должно было итти по закону природы. Когда она нападала на вас, это было желанием ее доказать себе, что она не имеет любви к вам, она перестала нападать на вас, потому что уже не имела силы говорить о вас дурно; и когда она стала говорить о вас с доброжелательным равнодушием, это было последним переходом к заявлению желания видеть вас; мать не умела взяться за это дело; следовало вызвать вас, не спрашивая ее согласия, угадать ее желание и исполнить, не принуждая ее высказывать его; неловкость матери возбудила ее сопротивление; но через два, три месяца, она сама навела бы мать на мысль вызвать вас, не спрашиваясь ее, с обещанием хорошего приема вам. Все шло, все шло, как должно было итти, — до появления Ремона де Форкалькье в Арле по возвращении из его, как называл я, загадочной поездки. Она загадочна. Объяснение, которое дали ей, без сомнения, бонапартисты и которому поверила Марсель, противоречит бесспорному факту: Тьер человек твердой воли и, по сознанию великой силы своего ума считающий свои понятия непогрешимыми, свои решения единственными разумными. Марсель могла забывать это, комитет оппозиции департамента Устий Роны не мог забыть: он находился в постоянных сношениях с Тьером. А Тьер постоянно заявлял, что не может принять никакой кандидатуры, потому что его появление в палате депутатов было бы преждевременным: для него еще нет должной деятельности там. Оппозиционный комитет Устий Роны не мог сделать такой глупости, как отправление уполномоченного с предложением кандидатуры Тьеру. — И кто это, человек, которому поручено было, по объяснению бонапартистов, ехать к Тьеру? — Неопытный юноша, подобный вам, мой милый мистер Сеттембрини. Захочет ли Тьер говорить с таким уполномоченным? — он выслал бы слугу сказать ему: школьник, вернись сидеть на школьной скамье. Нелепость, наглая нелепость бонапартистское объяснение поездки Ремона де Форкалькье. Не к Тьеру он ездил, и не по поручению комитета оппозиции. Он ездил по своему личному делу, это ясно; и по какому именно, довольно ясно; но с каким намерением и куда — вот вопросы, которых, разумеется, не разрешат письма М-те Вердье. Лионская депеша имеет, кажется, отношение к этой загадочной поездке; но она с умыслом или без умысла, говорит вздор, невозможный вздор. Подождем, что скажет нам мистер Джеррольд; и в ожидании его

известий, вы хорошо сделаете, если займетесь размышлениями о факте, показавшем мне надобность разъяснить дело поездкой мистера Джеррольда в Марсель. Вы не забыли этого факта? Повторю указание вам на него, предложив вам, в виде предисловия ряд вопросов. Благородная ли женщина М-те Дюбеллэ? Осталась ли она бедна по смерти мужа? Пенсия, назначенная ей нашей фирмой, не была ли дана ей, как бедной женщине? Бедный человек, получающий пособие, как бедный человек, не почтет ли своей обязанностью отказаться от пособия, разбогатев? Наша пенсия М-те Дюбеллэ обращена в капитал, отданный в собственность ей; но изменяется ли от этого сущность дела, изменяется ли обязанность отказаться от пособия, в котором перестаете нуждаться?

Почему ж миссис Дюбеллэ не уведомила, что возвращает или хотя после свадьбы возвратит нашей фирме капитал, которого не имеет права удерживать за собой, если действительно вступает в богатое семейство? И как могли бы мистер Гастон де Форкалькье и миссис Форкалькье допустить, чтобы женщина, вступающая в их семейство, оставалась пользующейся капиталом, который дан в пособие бедной женщине? — По-моему, это объясняется так: ни она, М-те Дюбеллэ, ни отец и мать ее жениха не полагают, что она будет его женою. Она его невеста только по имени. Кто ж его истинная невеста? Очевидно: Леония Бильо. Для чего ж все это делается так? Я выскажу вам мое предположение, когда мы увидимся вечером в моем доме. Здесь у меня достаточно и своего дела, не имею времени больше заниматься вашим. Прочту письма М-те Вердые. При всей пустоте их, вероятно найдется же в них что-нибудь пригодное для разъяснения истинного положения дела. Соображу, и скажу вам, почему было надобно назвать невестой Ремона де Форкалькье, вместо истинной невесты, Леонии Бильо, благородную женщину, имевшую твердость духа принять название невесты.

Он ушел в свой кабинет. Я сидел в его гостиной, теряясь в мыслях.

— Можно видеть мистера Бриггса? — сказал знакомый голос.

Я опомнился, встал и пошел доложить мистеру Бриггсу, что его желает видеть представитель ливерпульской фирмы, ведущей свои обороты главным образом на авансы нашей фирмы.

Возвратившись к рабочему столу в своей комнате конторы, я убедился, что не сошел с ума: я работал, как следует.

После конторских часов, я поехал не в мой клуб обедать, а прямо домой, пересмотрел еще раз письма М-те Вердые, отобрал, какие были нужны мистеру Бриггсу, отвез их к нему, разумеется, еще не возвратившемуся домой (время было раньше его обеда), положил письма на его рабочий стол и пошел в Гейд Парк, бродил по безлюдным углам его до времени итти к мистеру Бриггсу.

Ему доложили, что я жду его в кабинете. Он вышел и сказал: — Излагать мои предположения теперь уж нет надобности: мы имеем факты. Читайте эти депеши. Мистер Дилен разрешил мне передать ключ шифра, присланный им вместе с ними.

Он подал мне две депеши и ключ шифра, и оставил меня одного.

Шифр был один из тех, которые никаким искусством не могут быть дешифрованы без ключа, а имеющим ключ читаются почти так же легко, как обыкновенное письмо.

Понятно, что я могу повторить только содержание, а не обороты речи этих депеш; впрочем, многие места их помнятся мне буквально или почти буквально, так что я довольно близко воспроизвожу и слог их.

«Пертюи. Вторник, 13 июля, 1 час 5 минут пополудни. Мистеру Дилену. Причина промедления моего та, что я был на охоте в 9 километрах от Пертюи. На доставление мне вашей депеши было употреблено ни больше ни меньше, как 53 минуты времени; — при расстоянии только в 9 километров! Это ужасно. Одним этим уж достаточно характеризуются здешние порядки. Вы прав: Неаполь присланной вам лионской депеши — это Марсель. Потому ехать в Лион нет надобности. — Пошлю первую мою депешу из Марсели не позже 8 часов. Джеррольд».

«Марсель. 7 часов 10 минут пополудни Мистеру Дилену. — Этот Ремон де Форкалькье славный малый. — Естественно, я поехал со станции прямо к ним, к Форкалькье. Это было в 5 часов 17 минут. Никого из них нет дома; все на обеде в честь жениха и невесты, — отец, мать, жених и невеста и мать и отец невесты (мать и отец невесты живут у них, вместе с дочерью). Я велел, чтобы приготовили мне комнату и послал за Ремоном де Форкалькье. Вместо своей карточки, я дал записку: «Незнакомый английский друг ждет. Не говорите никому причины вашего отъезда домой;» — думаю: пусть вообразит, лучше поторопится. Действительно: вообразил и примчался на крыльях ветра, извинив свое бегство от супа безотлагательной надобностью свидания с политическими друзьями. Вот был сюрприз, когда я, дав ему обнять себя, сказал, что моя фамилия Джеррольд, а не Сеттембрини. Но только благодаря разочарованию, от которого опустились у него руки, я остался жив. Большая физическая сила у него, больше моей. — Рассказывайте, — говорю ему, избавившись от его объятий. — Не к чести своей пронизательности я должен сказать, что многое было так, как я предполагал по присланным вами сведениям (впрочем, согласен: из рук **вов** плохим).

«Ремон и М-лле Бильо действительно очень редко виделись в обществе». Да и не могло быть иначе при отношениях между их отцами. — «Вероятно мы и до сих пор не обменялись бы десятью словами, кроме неизбежных учтивостей при встречах, очень

редких, если б не сблизил нас случай, сам по себе маловажный», — говорит Ремон.

Отец Леонии (буду для краткости называть ее просто так) был назначен в Марсель префектом, чтоб исполнять как должно, распоряжения Эпинаса (прежний префект был не совсем зверь). Можете судить, с какими ожиданиями приняли в Марсели дочь такого отца; думали, мерзавка, которая уж не раз заманивала в свою спальню стариков для пособия карьере милого папаши, а по ночам отдыхает от этой дневной службы, утешаясь поочередно, иногда и не поочередно, а вместе, приятными качествами двух или трех молодых любовников, а главное, занимается шпионством; словом, девица, как следует быть девице бонапартистского высшего общества. Через три или четыре дня по приезде нового префекта и его дочери, человек тридцать молодых людей, в числе которых находился Ремон, сидели перед кафе на третьем километре Promenade de Prado (день был вовсе теплый, что в Марсели в январе бывает не очень часто, потому-то все и рады были быть на открытом воздухе). Леония поехала посмотреть на море. Несколько не доезжая кафе, ось коляски сломилась. Леония и провожавший ее слуга пошли пешком, пока кучер верхом съездит за другим экипажем. Когда дочь префекта поравнялась с кафе, все молодые люди встали, ушли в кафе, затворили двери и опустили жалюзи окон. Все, кроме Ремона. Он подошел к дочери префекта, почтительно поклонился и попросил сделать ему честь, позволить вести ее под руку. Конечно, я считал ее дрянью, говорит он, но все-таки: девушка, обидели ее, жаль было бедняжку. — Что было дальше, можно отложить до завтра. Мне страшно хочется спать после двух бессонных ночей (и за какие провинности детства наказан я с самой ранней молодости этой проклятой моей страстью к охоте! На беду, не могу спать в вагоне: так и тянет разговаривать с пассажирами. Привычка — вторая природа). Вам и без рассказа понятно, что было дальше: они виделись за городом, условились оставаться незнакомыми в обществе. На третье свидание Ремона с Леонией поехала с сыном мать; полюбила Леонию, через несколько дней назначила местом тайных свиданий сына с Леонией свой апартамент; еще через несколько дней отец и мать Ремона велели Леонии сказать отцу о ее отношениях к Ремону и о том, что они желают его брака с нею. Отец Леонии был в экстазе восторга. Еще бы нет! Кроме 600 000 франков годового дохода, Гастон де Форкалькье имеет 5 000 000 франков в облигациях французской ренты; следовательно без просьбы даст полмиллиона франков милому родителю невесты своего сына за родительское согласие. Это было сказано через камердинера Гастона де Форкалькье. — Но какое ж было время! Свирепствовал Эпинанс. Каждую минуту могло притти из Парижа приказание арестовать Ремона и — хорошо еще, если только отвести в тюрьму, а не отправить в Ламессу. Отец

Ремона сказал, что не честно было бы сыну связывать в такое время с своей судьбой судьбу девушки, что надобно подождать, пока народное негодование заставит правящую Францией шайку авантюристов возвратиться к более мягкой политике и обратить Эспинаса в прежнее ничтожество. Ремон понял, что это правда и свадьба была отсрочена до отставки Эспинаса. — Решительно ложусь спать. Не ждите новой депеши раньше 10 часов утра, если не будет землетрясения этой ночью в Марсели. Джеррольд».

Я сидел, задумавшись. Вошел мистер Бриггс.

— Прочли?

— Прочел.

— Разумеется, нельзя было угадать, где и как они познакомились. Такие случайности не угадываются. Но возможно ли было сомневаться, что они любят друг друга? Пойдете закусить с нами? Мы люди патриархальные; то есть, не столько миссис Бриггс и я, сколько младшие дети: непременно хотят поздно вечером, за час перед тем, как лягут, иметь то, что в старину называлось ужином. Как не хотеть? Людям от 7 до 19 лет; растут. И нарушают современные нравы, потому что просыпаются от голода, не выспавшись, если не поедят незадолго перед тем, как лягут. Кстати и мы, миссис Бриггс и я, садимся ужинать с ними. Правда, едим мало; но как-то весело, что делаем удовольствие детям, сидя за их едой. Не постыдитесь оскорбить современные нравы, поужинать с нами?

При его словах о еде, я почувствовал волчий аппетит. Оказалось, что я не обедал.

— Постыжусь, но оскорблю. Оказывается, что я забыл пообедать.

— Да? Впрочем и то сказать: что ж бы за человек были вы, если б не забыли пообедать. И когда так, то у меня есть для вас совет. — Мистер Дилен разрешил мистеру Джеррольду посылать депеши помимо него, прямо в нашу контору. Я попросил мистера Джеррольда адресовать прямо на ваше имя, чтобы вы могли немедленно распечатывать. Я полагаю, вы пожелаете поселиться на эти дни в конторе? То я посоветую вам вот что: работайте без отдыха. Кстати будьте бессменным дежурным; товарищи, которых заместите вы в эти дни, будут благодарны вам. Непрерывный труд — единственное средство в вашем положении не сойти с ума. — У нас остается несколько минут до призыва к оскорблению цивилизации. Потолкуем. — Я прочел письма М-ме Вердье. Действительно, источник очень плохой. Но случайно попадают у нее такие сообщения, которые, помимо ее собственного понимания показывают дело в истинном его виде. Обращу ваше внимание на восклицание, с которым миссис Форкалькье обнимает миссис Дюбеллэ: «Спасительница моего сына!» Даже М-ме Вердье, и та видит, что эти слова

как-то не клянутся с ее твердой верой в свадьбу ее дочери. Небогатая женщина, выходящая за богача и притом не мота, не пьяницу, человека, пользующегося общим уважением к его уму и характеру, каким же образом и за что может быть названа спасительницей его? — Одно из двух: или она выходит за него по любви; в таком случае не от чего спасать его: пороков, от которых спасла его любовь к ней, у него не было; М-те Вердье объясняет слова матери Ремона предположением, что он хотел застрелиться в случае отказа; но если небогатая женщина выходит за богатого человека по любви, то он всегда знает вперед, что женщина, любящая его, ждет только предложения от него, чтобы дать свое согласие; или бедная женщина выходит за богатого человека не по любви, а по расчету; в таком случае он дает ей счастье, какого жаждет она, — богатство и почет, и остается под сильным сомнением, не будет ли она грабить его, и ограбив, не выгонит ли из дому, то есть, вопрос лишь о том, не губительница ли его она. Ясно, что если М-те Дюбеллэ «спасительница» Ремона Форкальке, то она не выходит за него и ясно, что он задумывал какое-то очень опасное дело, надобность в котором устранена согласием М-те Дюбеллэ называться его невестой. Его мать сказала тогда, что «измучилась в эти полторы недели»; а отъезд ее сына был за полторы недели до записки сына, уведомившей ее о согласии М-те Дюбеллэ; мать мучилась опасениями сына со времени его отъезда; ясно, он поехал устроить какое-то опасное для него дело, — какое? — ясно: похищение Леонии; отец ее взял назад свое согласие на брак. — Вот с этою-то поездкою Ремона имеет, вероятно, связь Лионская депеша о генуэзцах в Неаполе, то есть итальянцах в Марсели; депеша говорит, что подготовлялось восстание; никаких заговоров тогда не было; задумано было женихом нападение на дом невесты, вооруженное похищение ее. — Однако, что-то долго не зовут нас ужинать; должно быть, ждут, не желая прервать наш разговор. А мне с вами теперь, по правде сказать, и говорить уж не о чем было, кроме того, что мистер Джеррольд будет адресовать депеши в нашу контору, прямо на ваше имя. — Он взглянул на часы. — Так и есть, ждут нас. Пойдем.

На другой день, то есть в среду, я чуть не с рассвета переселился в свою комнату в нашей конторе.

В этот день я получил от мистера Джеррольда две депеши:

«Среда, 14 июля, 10 часов утра. По распоряжению мистера Дилена и мистера Бриггса, буду посылать мои депеши прямо вам, мистер Сеттембрини. Я встал в 8 часов и буду писать до 10, в 10 пошлю, сколько напишу.

Билью был назначен префектом департамента Устий Роны 19 января, приехал в Марсель 20-го. Случай на Promenade de Prado, о котором рассказывал я вчера, был в первую субботу по приезде нового префекта и его дочери; следовательно 23 января,

на четвертый день по приезде. — Ремон и Леония виделись сначала за городом; потом, в комнате матери Ремона. — Я говорил, что свадьба была решена в половине февраля (в субботу, 15 февраля) и отсрочена до отставки Эспинаса и замены свирепой тирании политикой, более благоразумной, менее щедрой на аресты и ссылки. Эспинас получил отставку 11 июня. Делангль, назначенный быть исполнителем новых надобностей бонапартизма, объявил, что будет действовать в духе законности и кротости. Отец Ремона сказал, что должно подождать, пока станет ясно, что обещание сделано с серьезным убеждением в бессилии правительства продолжать прежнюю политику свирепости. Прошло дней десять; стало видно, что правительство действительно отказалось от терроризма. Отец Ремона 23 июня в 11 часов утра написал отцу Леонии записку, в которой формально просил руки его дочери для своего сына. В 2 часа отцу Ремона доложили, что приехал префект просит свидания. «Принять», — сказал отец Ремона. Префект вошел в кабинет; лицо было печальное. Что такое? — «Я спросил Делангля, могу ли выдать дочь за сына вождя оппозиции; объяснил, что этот брак, по моему мнению, соответствует политике примирения, которую приняло правительство. Делангль отвечал: совершенно разделяю ваше мнение и лично одобряю брак; но подождите полчаса; я спрошу, одобряется ли ваше и мое мнение. — Префект тяжело вздохнул и со слезами на глазах продолжал: меньше, чем через полчаса я получил депешу: Делангль писал: «Мне сказано: в день объявления дочери префекта департамента Устий Роны невестой Ремона де Форкалькье вы подпишете отставку Бильо от должности. Заготовьте эту бумагу. — Я сказал, что прошу дозволения объяснить, почему я считал этот брак соответствующим политике, исполнителем которой выбран я. Мне было сказано: от вас требуют не советов, а внимательности к приказаниям, какие даются вам. Делангль». Префект снова вздохнул, и продолжал: я отвечал Деланглю, что благодарю его за ходатайство и прошу о возобновлении ходатайства в благоприятную минуту. Он отвечал: «Вы сделали большую неосторожность, послав мне просьбу о возобновлении ходатайства; ждите неприятности, которую постараюсь по возможности смягчить». И вот сейчас, я получил от него новую депешу: «Меня призвали и сказали: Бильо просит вас о возобновлении ходатайства. — Да. — Что вы отвечали ему? — То, что он сделал большую неосторожность, и должен ждать неприятности, которую я постараюсь по возможности смягчить. Уведомьте его, что она смягчается по вашей просьбе. Прочтите этот декрет и передайте ему содержание». Префект простонал и проговорил прерывающимся голосом: в депеше следовало за этим содержание декрета. Затем следовало: «передайте ему, что исполнение декрета отсрочено по вашей просьбе. Исполняя приказание, передаю вам то, что обязан передать. Делангль». Вы видите, брак в настоящее время невозможен, — продолжал Бильо

и, заливаясь слезами, просил отца Ремона ждать более благоприятного времени.—«Мы не скоро дождались бы его, и не имеем надобности ждать, — отвечал отец Ремона.— Не стесняйтесь сообщением об отставке. Сколько в год надеетесь вы получать от вашей должности?»—Мой предместник получал, считая все доходы, от 60 до 80 тысяч; я надеюсь получить больше. — «Но не больше 100 000?» — сказал отец Ремона: — я немедленно посылаю моему парижскому банкиру ордер составить формальный документ, по которому обязываюсь в самый час свершения брака передать в вашу собственность сумму пятипроцентной ренты, дающую 100 000 франков дохода, прислать этот документ вам, внести эту сумму во французский банк, заготовить на ваше имя ордер французскому банку о передаче ее вам по предъявлению вами удостоверения о совершении брака. Доволен вы?» — Благодарю за ваше великодушие; но не могу согласиться. — «Вам мало? Вы преувеличили доход вашего предместника; а вы получали бы меньше его; теперь произвол принужден быть осторожнее, грабеж казны и взяточничество уж невозможны в прежнем размере. Вместо 40, много 45 тысяч, я даю вам 100—и вам все мало. Но мало, то мало; скажите вашу цифру; вы знаете мои средства; будьте разумен, сообразуйтесь с размером их; помните, что я хоть и богат, но все-таки не герцог Девонширский, не Эстергази, не Лихтенштейн». — Мне, мало было бы 100 000 франков дохода? О, нет! Не думайте обо мне так дурно. Я благодарен вам за вашу великодушную щедрость. Но я не могу принять никакой суммы.—Он рыдал.—«Почему же не можете?»—спросил отец Ремона. «В декрете, исполнение которого отсрочено, находится кроме отставки мне, приказание арестовать меня и предать суду по обвинениям, которые перечисляются. Вы знаете, я жертва бесчисленных клевет». — «И улики в руках правительства? Например по обвинению вас в отравлении дяди, наследником которого вы были? Не понимаю, как вы человек неглупый, решились на такое дело из-за каких-нибудь 20 000 франков». — «Я был беден. Вы помните, это было еще до 2 декабря».—«Ваша правда. Но имеете время уехать из Франции. Через час вы будете в открытом море, и будет поздно ловить вас. Леония останется, и вечером ныне марсельское общество будет пировать у меня на ее свадьбе». — «О, если б я мог бежать! Я сам предложил бы вам это! Но за мной учрежден надзор. У всех входов вашего дома стоят переодетые стражи. Они провожали меня из префектуры и будут провожать обратно в нее».—«О, если так, то действительно вы не можете согласиться. Но мы обойдемся и без вашего согласия. Вы все-таки получите обещанное мной вознаграждение». — Префект взвизгнул, схватился за голову, побежал из комнаты, выбежал на подъезд и помчался в свою квартиру, взбежал на подъезд, побежал в ту комнату, где обыкновенно сидела за работой или чтением дочь—«Леония, Леония, иди со мной, скорей, скорей», — он схватил дочь за

руку и потащил с собой так быстро, что она едва успевала бежать за ним. Он подбежал с ней к двери ее комнаты, сильно втокнул ее, так что она упала на ковер; опомнившись от неожиданности, она увидела дверь затворенной. Она хотела отворить; дверь была заперта. Несколько часов оставалась Леония в недоумении, зачем запер ее отец. Вечером щелкнул замок: вошел полицейский с большим подносом, на котором стояло кушанье; поставив поднос на стол, полицейский подошел к Леонии и став между нею и дверью, уронил на ее платье маленький лоскуток бумаги, прошептал: надобно съесть это, и громко сказал: «Кушайте, М-лле Бильо. Здесь вы безопасна; вам угрожала беда; у вас есть соперница, она хочет устроить скандал; ее приятели могли бы проникнуть даже в салоны префектуры, даже в будуар ваш. Но уже приняты меры и через несколько дней опасность будет совершенно устранена». Он ушел, снова щелкнул замок. Леония села за стол спиной к двери, прочла записку и проглотила с ложкой супа этот крошечный лоскуток бумаги. На нем были только слова: «Ранее недели вы будете освобождена». Тогда она поняла, что отец принужден был отказать Ремону в ее руке и опасался, что она убежит с ним. Действительно, ему не было оправдания перед правительством; все говорили б, что он помогал бегству дочери, взяв деньги с отца Ремона.

Ремон ехал издали вслед за префектом, мчавшимся домой, чтобы скорее запереть дочь. Увидев, что он взбежал на подъезд своей квартиры, Ремон пошел к одному из политических друзей, жившему неподалеку от префектуры. Они послали старика слугу узнать, что происходит в квартире префекта. Старику были даны деньги, потому затруднение было разве в выборе между готовыми продать себя на какое угодно дело слугами и служанками префекта и Леонии. Через полчаса Ремон и его друг знали все. Они пригласили еще одного из своих политических друзей. План освобождения Леонии был составлен в четверть часа. Они были люди умные, решили, что нападение на префектуру должно отложить до пятой или шестой ночи, когда опасения префекта ослабеют. Они знали, что итальянцы лучше французов умеют хранить тайну. Ремон сел на свою верховую лошадь и поехал по улицам на запад за город, будто делая обыкновенную прогулку. В домике сторожа одного из виноградников на западной стороне от Марсели он дождался, пока привезли ему форму военного инженера (по приморью производились работы, которыми заведывали военные инженеры) и привели другую лошадь, принадлежащую одному из двух помогавших ему друзей; он, одевшись инженером, поехал на ней спокойным аллюром кругом Марсели с северной стороны, обогнул восточную до шоссе, направлявшегося на восток и поскакал по шоссе-ным дорогам, по сельским не шоссированным дорогам, по тропинкам нив на северо-восток к Ницце; два раза он переменял лошадь, два раза переменял платье и ночью подъ-

езжал к границе с несколькими контрабандистами, одетый сам контрабандистом. Его спутники стали пробираться к Вару, бывшему тогда границей. Он поехал позади. Они ехали тропинками, на которых обыкновенно поджидали их таможенные стражи. Стражи увидели, поскакали за ними; они обратились в бегство. Ремон промчался мимо них и гнавшихся за ними стражей к реке, лошадь была хорошая, сильная, он бросился с нею в реку, не разбирая глубоко ли тут. Вдогонку за ним были посланы несколько пуль, но в темноте и при торопливости не очень искусных стрелков они пролетели мимо. До Ниццы Ремон ехал уже легкой рысью, давая отдохнуть лошади. Он дождал на станции поезда, шедшего в Геную и на рассвете был уж там. Через два дня, пятьдесят смелых волонтеров, опытных солдат тайной армии марзинистов поплыли морем, поехали железной дорогой в Марсель, разделившись на партии по три, четыре человека. В субботу ночью Ремон, переодетый путешествующим приказчиком, приехал в приготовленный для его итальянцев приют. Друзья, помогавшие его отъезду, сказали, что прежние усиленные охраны префектуры отменены с прошлой ночи. Но в эту ночь было уже поздно делать нападение. Притом Ремон хотел предупредить Леонию, чтоб она не испугалась шума (выстрелов бы не было, итальянцы сказали, что надобно действовать исключительно холодным оружием; они будут работать кинжалами и не дозволят Ремону и его друзьям иметь при себе ничего, кроме шпага; за неумением владеть кинжалами, годятся шпаги, хоть шпага—слабая игрушка перед кинжалом). Вечером в воскресенье, была передана Леонии записка: «не пугайтесь шума этой ночью». Она отвечала запиской: «Не хочу, чтобы свобода и счастье мне были куплены ценой крови». Ремон сказал своим итальянцам, что дело отсрочивается на неопределенное время, и утром они пошли один по одному наниматься в работники на пристани. Вы видите, что действительно к этому делу и относится известие лионской депеши и что действительно, в нем все ошибочно. Происхождение его: один из друзей Ремона — шутник; он хотел подурачиться; а серьезная цель была та, чтобы предотвратить всякое препятствие возобновлению дела, если понадобится возобновить; в этом смысле и были переделаны факты: говорилось о восстании, о нападении на арсенал, для доставления оружия народу и говорили, что заговорщики увидели невозможность успеха и отправили итальянцев назад в ночь, следовавшую за ночью их приезда. Таким образом, если правительство узнало о приезде итальянцев, то оно должно было видеть, что опасность миновала, а префект понимал бы, что опасность угрожала не его квартире, а арсеналу. Если ж правительство и префект ничего не знали, то предположили бы, что известие лионской депеши—пустая выдумка революционеров; предположили так и вы и не захотели напечатать вздор. Важно заметить одно обстоятельство: депеша говорила, что

итальянцы уехали домой в ту же ночь, — то есть в ночь воскресенья на понедельник. Нет, они оставались в Марсели и работали на пристанях; разумеется, впрочем, не до чрезмерности усердно; больше занимались тем, что грелись на солнце и курили свои сигары, называющиеся у них кавурами, по имени изобретателя, едва ли не еще более омерзительные, чем французские. — В понедельник, перед временем обеда, Ремон вышел из своего приюта, одетый в свое платье, сел на свою лошадь и приехал домой. На вопрос, каким же образом думает устроить свое освобождение Леония, он получил вечером ответ, что план у нее готов, но что она будет думать о нем до следующего вечера. Во вторник вечером она написала Ремону: «Вы без сомнения знаете в лицо М-те Дюбеллэ, живущую в Арле и, вероятно, вы знаете о ней все то, что слышала я; попросите ее быть вашей невестой. Я уверена, что у нее достанет силы воли хорошо исполнить эту очень трудную обязанность; а в том нет сомнения, что она согласится принять на себя спасение вашей жизни и моей. — М-те Дюбеллэ; если вы не дадите мне освобождения, Ремон не послушается меня в другой раз; они нападут на префектуру; я не переживу Ремона. Леония Бильо».

Прежние записки Леонии не имели подписи, эту она подписала, чтобы М-те Дюбеллэ могла сличить ее подпись на записке с подписями ее на записках приятельницам, какие удастся собрать Ремону. Он рассудил, что М-те Дюбеллэ поверит и без сличения почерка и подписей. В среду, как вы знаете, он поехал в Арль и принял на себя обязанность распорядителя прогулки арльского общества в парке виллы.

Мне остается только рассказать о том, что было в аллее парка во время пятой кадрили.

Когда Ремон и М-те Дюбеллэ подошли к тому концу аллеи, у которого начинался лес с опушкой почти непроходимого кустарника по окраине, Ремон попросил М-те Дюбеллэ сесть на ближайшую скамью и выслушать историю его отношений к Леонии Бильо. Кончив рассказ, он сказал: вы видите, надобно было отказать от нападения на префектуру, по крайней мере, отложить употребление оружия до того времени, когда окажется, что невозможно избежать этого средства для освобождения Леонии. Но она уверена, что вы поможете нам обойтись без него. Она просит вас назваться моей невестой; отец ее увидит, что я изменил ей и освободит ее. Возьмите эту записку Леонии ко мне. Вот вам спички, вот складной фонарь, идите в кустарник, там зажжете фонарь и прочтете записку.

— Для чего? — сказала она, — разве и без того не видно, что вы говорите правду. Ваша невеста справедливо думает, что если вы нападете на префектуру, то погибнете. Положим, вы овладеете префектурой; но войска между тем займут пристань. Я обязана исполнить просьбу Леонии Бильо. Когда возвратимся домой, я

скажу матери, что вы сделали мне предложение, и что я приняла его. А ваша мать сумеет исполнить свою роль?

— Ее роль будет легка.

— Правда. Она в самом деле полюбит меня.

— Вам необходимо будет принимать богатые подарки.

— Само собой разумеется. Буду даже сама напрашиваться на них.

— Мне кажется вы стали очень грустна.

— Да; но когда выйдем к обществу, я сумею держать себя по-прежнему, скорее веселой, чем грустной.

— Отчего вы стали так грустна?

— Говорить об этом теперь было бы не время. Поговорим после. Успеем наговориться обо всем. Нам надобно будет много часов оставаться наедине. Невозможно иначе: вы страстно влюблен в меня, а я не девочка, чтобы бояться быть наедине с женихом, или чтобы позволить матери стеречь меня. Предупреждаю вас, эти долгие часы будут очень скучны вам.

— Почему же? Разве не можем мы найти интересных предметов для разговора, когда перескажем друг другу все о себе; будем говорить о литературе, театре, искусстве; я не невежда, вы, как я слышал, читали и думали очень много.

— Увидите, будет ли у вас время говорить о литературе. Предупреждаю вас, я страшно надоем вам, и хлопот со мною, когда мы будем оставаться наедине, вы будете иметь столько, что после целый год будете бегать от меня.

— Меня начинает очень интересовать, чем же именно вы будете надоедать мне?

— Увидите. Насмотритесь и послушаетесь досыта. Но не пора ли нам вернуться к обществу. Кажется танцуют последнюю фигуру.

— Кажется, нет еще, только предпоследнюю.

— Все равно. Если еще нет, то пойдем потише и можем пройти обратно, сколько понадобится.

Она встала. Должен был встать и он. Она взяла его под руку.

— Я предпочитаю ходить, потому что молчать удобнее, когда ходишь вдвоем, нежели, когда вдвоем сидишь.

Я говорил вчера, мистер Сеттембрини, что пошлю депешу не ранее 10 часов; теперь еще только 9, а рассказывать мне больше нечего, как вы сам, вероятно, согласитесь. Подожду до 10 часов, не услышу ли еще чего, хоть знаю наперед, что ничего не услышу. Во-первых, все они проспят до 12, если не дольше (возвратившись с бала в 4 часа); во-вторых, если бы проснулись, то нечего было бы мне больше слушать от них. Все уже рассказано мне Ремоном и передано мною вам — во вчерашних депешах через посредство мистера Дилена, в нынешней непосредственно. Подумаю, впрочем, не найдется ли чего-нибудь интересного еще не переданного.

Ничего не нашлось, потому что ничего нет. Следующая депеша будет послана в 10 часов вечера. Тогда они будут собираться на бал и не до разговоров со мной будет им. Джеррольд».

«Среда, 9 часов 12 минут вечера. Почти ничего нового не имею сообщить Вам, мистер Сеттембрини. Разве любопытствуете узнать, как шло время у жениха и невесты в долгие часы, которые проводили они наедине.

— Часы, проводимые мной наедине с М-те Дюбеллэ тяжелее для меня, чем можете вы предполагать, мистер Джеррольд, говорит Ремон: — истерики с ней не бывает; но только истерики и не достает. Не напрасно она грозила мне скукой, давая согласие быть моей невестой. Действительно, и скучно мне с ней и тяжело. Плачет о том, что унизит себя в собственном мнении. Я терял терпение, забывал иногда деликатность, называл ее мысли настоящим их именем, смешными. Пользы не было ни от каких резонов, кроме одного: «Вспомните, наконец, М-те Дюбеллэ, что через три часа вам надобно будет ехать на бал. Как вы поедете с заплаканными глазами?» — Это останавливало ее. «К тому времени пройдет краснота». — «Пройдет, если не будете больше плакать». — «Не буду». — Это было начало почти каждого разговора наедине и начало это длилось по часу и больше. — Умоет глаза. Мы сидим и молчим. Она, потому что раздумывает все о том же; я для того, чтоб успокоились ее нервы. Скука. Беру книгу, читаю. Клянусь вам, мистер Джеррольд, что если б остаться мне хоть с год женихом М-те Дюбеллэ, я сделался б одним из ученейших людей Прованса. Чувствуешь, наконец, что неловко же молчать и читать дольше; возобновляешь разговор: М-те Дюбеллэ, обещаетесь не плакать, если станем говорить. — «Не буду плакать, теперь уже нельзя». — Должно отдать ей справедливость, что когда обещалась, то уж сдержит слово. — «Какая же надобность вам плакать, М-те Дюбеллэ? Кто принуждает вас к тому, чтобы унизить себя в собственном вашем мнении, как выражаетесь вы?» — «Никто». — «Зачем же вы унижаетесь?» — «Я решилась; я предвидела, когда принимала название невесты, что решусь. Я знала, что оставаясь со мной наедине, вы будете говорить об вашей любви к Леонии, что ваши слова, проникнутые пламенным чувством, будут согревать мое сердце». — «Раз я действительно был виноват в этом перед вами; но только раз, в первые наши долгие часы наедине. Я увидел, что вы слишком страдаете от моих слов любви и после того уж не позволял себе и упоминать о Леонии, если вы сама не наведете разговор на нее. Зачем вы начинаете разговоры о ней? — вы сама виновата. И скажите, разве не стараюсь я каждый раз прекратить разговора о ней, начинаемого всегда вами. Но вас не остановишь». — «Как же я остановлюсь, когда я завидую ей?» — «Если вам завидно, то позвольте мне, я напишу мистеру Сеттембрини». — «Нет, не пишите». — «А следовало бы вам написать

ему». — «Я напишу». — «Когда же?» — «Когда-нибудь напишу». — Словом, невообразимая скука с ней, мистер Джеррольд.

Новость! восхищающая меня новость! Деша от Алексины Тинне приглашает меня быть участником ее путешествия в Центральную Африку. Откровенно, мистер Сеттембрини: я не нужен вам больше здесь? Отвечайте немедленно; и каков бы то ни был ваш ответ, отправьтесь завтра утром к мистеру Дилену и поблагодарите его от моего имени за эту рекомендацию. Сам не стану писать ему, потому что не удержался бы, стал сообщать ему полученные по дороге сюда и от Ремона и Гастона де Форкальке сведения о политических делах; а мне теперь не до того, чтобы тратить время на депеши. Я уверенный в вашем согласии уволить меня от поручения, которое в сущности я уже исполнил, займусь приготовлениями к отъезду в Каир, где ждет меня Алексина Тинне. В случае вашего согласия на мой немедленный отъезд, не ждите больше депеш от меня. Повторяю просьбу — передайте лично мою признательность мистеру Дилену за рекомендацию меня фрейлейн Тинне; — понимаете — передайте лично. В нетерпении скорее получить ваше согласие, посылаю депешу ранее назначенного срока. Джеррольд».

Поручение, принятое на себя мистером Джеррольдом, было действительно уж исполнено им. Я отвечал, что благодарю его и желаю ему вместе с фрейлейн Тинне приобрести бессмертную славу открытием источников Нила. Имя Алексины Тинне полузабыто теперь. Но в те годы оно было знаменито. Наследовав громадное богатство отца, эта молодая девушка, занимавшая высокое положение в знатном голландском обществе, поехала в сопровождении матери и тетки и с обществом приглашенных ею ученых и художников через Константинополь, Сирию в Египет. Она задумала исследовать Центральную Африку, в то время еще неизвестную, и приглашала других ученых и художников присоединиться к обществу уж собранному ею.

Рано утром в четверг, я отвез свои вещи на квартиру, потом занимался в конторе до обыкновенного часа приема у мистера Дилена. Дождавшись этого времени, отправился к нему.

Я усердно, довольно верно и потому без красноречия передал мистеру Дилену страстные выражения признательности мистера Джеррольда за рекомендацию его Алексине Тинне. Мистер Дилен слушал с серьезным видом, и дослушав, расхохотался.

Удивительная сообразительность у нашего общего друга, мистера Джеррольда. Я знаю, что Алексина Тинне жила эту зиму в Каире, что весной она уехала оттуда и с той поры я ничего не знаю о ней; куда она уехала тогда и где теперь не имею понятия, может быть и действительно опять в Каире. Но кому же придет в голову, что ее сборы в новое путешествие и приглашение мистера Джеррольда участвовать в нем — выдумка? Все до такой степени соответствует всеобщим знаниям о характере и планах

Алексины Тинне, что всякий, кроме людей, ведущих личную переписку с ней, примет рассказ мистера Джеррольда о моей рекомендации и так далее за чистейшую правду. Чрезвычайно сообразительный человек. Кто ж его знает, может быть, он и действительно уедет, или вероятно уже уехал из Марсели; но будьте уверен, что если уехал, то по вашему делу. Он не бросит поручения, не исполнив до конца; это у него страсть более серьезная, чем любовь к охоте, которую он для шутки возводит в непреодолимую свою страсть. Он любит бродить между народом; охота — удобный предлог для этого. Впрочем, он действительно стреляет птиц; но каких? — этого не угадаете; ни одной из тех птиц, которых стреляют другие охотники, он не бьет; бьет совершенно иных; каких, он когда-нибудь расскажет вам удивительную историю об этом. — Да, охотиться за некоторыми птицами он любит; еще гораздо более любит бродить между народом; но если б надобно было совершенно непрерывно заниматься принятым на себя делом пять лет, он ни разу — не то что не взял бы в руки охотничьего ружья, не вышел бы из дому. Ждите от него депеш; откуда и за какой подписью, я не знаю.

Я перевез свои вещи опять в мою конторскую комнату и стал ждать депеш мистера Джеррольда.

Первая депеша пришла поздно вечером в тот день (четверг). Она была:

«Ливорно. Четверг, 15 июля, 9 часов 45 минут. Еду назад. Завтра в 8 часов утра пошлите мне в Марсель депешу обыкновенного письма с жалобой, что шифр утомляет ваши глаза и голову. Я устраиваю комедию для безопасной развязки дела, приготовления к которому были начаты ими так, что не была обеспечена полная достоверность и безопасность успеха. Комедию я буду писать вам обыкновенным письмом, потому что она становится на сцену для публики. Известия о действительном положении дел буду писать шифром. Подписываюсь титулом, бесспорную принадлежность которого мне вы по объяснении мною, подтвердите вашим свидетельством. Тридцатисемилетний дурак».

Я послал ему депешу, которой требовал он.

Следующая депеша его была получена мною вечером на другой день (в пятницу). Она была обыкновенного письма.

«Марсель. Пятница, 16 июля, 5 часов 40 минут пополудни. Чорт бы подрал все эти внимательности и деликатности! Алексина Тинне изволила вздумать послать за мной свою яхту. Сижу и жду. Будто мало в Марсели пароходов, идущих каждый день на восток. Если б не было идущего прямо в Александрию, я переходил бы с одного на другой в гаванях по направлению туда и был бы теперь на половине пути. — От скуки веду пустые разговоры с женихом и невестой и их матерями. Разговоры с Гастоном де Феркалькье, отцом жениха, интересны. Только благодаря им я еще не повесился от скуки. Он умный и дельный человек. Но —

не может сладить с женой, сыном и будущей дочерью. Расходы на свадьбу громадны и этого еще мало им. Они сочинили план послесвадебной поездки, которая обойдется никак не меньше 500 000 франков. Молодые с отцом и матерью Ремона прямо со свадебного завтрака едут в Париж, дают там три бала и оттуда отправляются в объезд по Европе через Брюссель, Амстердам, Берлин, Петербург, Москву, Вену, Флоренцию. В каждой столице дают балы, в мелких по одному, в крупных по три. Флоренции оказывается исключительная благосклонность: они поселяются на вилле по соседству с ней и живут там целый месяц, дают пять балов, и возвращаются в сельскую резиденцию фамилии Форкалькье. Будущая новая М-ме Форкалькье желает удивить всю Европу своей красотой. Даю голову на отсечение, если через два года имения Гастона де Форкалькье не будут продаваться с аукциона. Я сказал М-ме Дюбеллэ, что нахожу недостатки в ее плане: обижен Лондон, — Лондон! — Лондон!! А сколько обижено мелюзги! Назову только северную: Копенгаген, Христианию, Стокгольм, а сколько ее в средней и южной Европе! Не хорошо; следует пополнить план ею. Следовало бы не лишиться чести видеть вашу красоту Константинополь, Тегеран, Мадрид и Лиссабон. — Она с спокойным достоинством отвечала: вы ошибаетесь, я ни мало не тщеславна; но мне необходимо развлечение после пяти лет затворничества. С этого обмена мыслей между нами, она изволит гневаться на меня. А чорт бы побрал кстати и ее гнев вместе с любезностью Алексини Тинне! Я говорю отцу Ремона: «Вы сходите с ума. Прикрикните на нее, скажите решительно, что остаетесь при прежнем благоразумном, скромном плане послесвадебной поездки на пароходе по берегам Средиземного моря, с посещениями Неаполя, Салерно, Палермо, Греции, Александрии, плаванием по Нилу до первого порога». — «Боже мой, что вы меня учите, будто я сам не знаю, что должен был бы сделать так! Но больше 25 лет прожили мы с женой, не имея ни одной ссоры. Не могу я опечалить ее теперь суровостью». — Итак, дело безнадежно. Ныне за завтраком, М-ме Дюбеллэ не благоволила заметить меня. Ее мамаша и папаша воротили от меня свои носы. (Эти курьезные произведения провансальской природы ничего не знают и не понимают, разумеется; они только ворочают носами по команде дочки.) Я сказал: — «М-ме Дюбеллэ, извините прямоту, но я защитник семейного принципа. Я порицаю вас за то, что в свое путешествие по столицам Европы вы не берете ваших родителей. Они были бы лучшим украшением тех балов, какими будут чтить вас столицы в благодарность за ваши балы». — Она с спокойным достоинством отвечала: «Благодарю вас за совет; но он несколько запоздал: ныне утром решено, что мои отец и мать едут с нами». — Вы скажете, мой милый Сеттембрини, что не понимаете, как достаёт у меня смелости оставаться в этом доме при таких огно-

шениях к владычице его. Какое мне дело до благоволения или неблаговоления этой женщины ко мне? Хозяин и хозяйка дома — Гастон де Форкалькье и его жена; пока мне не будет сказано ими или от их имени, что они не желают дальнейшего моего присутствия в их доме, я остаюсь, потому что я полезен им, честным, почтенным людям; при мне эта женщина все-таки несколько сдерживает фантазию своего тщеславия; без меня в маршрут послесвадебной поездки были бы приняты Константинополь, Афины, Палермо, Неаполь, Рим, Севилья, Лиссабон, Мадрид. Она сама говорила своему будущему тестю, что думала об этих городах, но отказывается от них, желая показать непрощенному советнику, что она помнит размер средств фамилии Форкалькье и довольствуется тем размером расходов, который не обременителен. Вы скажете: «Ню Ремон вызовет вас на дуэль». — Вероятно, вызвал бы еще вчера; но начиная мою борьбу за интересы ее будущих тестя, тещи и мужа, я для приготовления умов рассказывал некоторые случаи моей жизни и по поводу их имел надобность объяснить, что я не дерусь на дуэлях, но при мне всегда револьвер, из которого я стреляю в человека, выказывающего намерение оскорбить меня. Вы скажете: «Велят лакеям вывести меня». — Я желал бы, чтоб это было сделано. Я люблю в некоторых случаях, чтобы провожали меня под руку дамы. Я надеюсь, что мы вышли бы под руку с М-те Дюбеллэ. Но оставим надежды на торжественное прощание мое с ней. Я мирно уеду, когда придет за мной в марсельскую гавань маленький пароход общества Рубаттини «Сигара». Я забыл сказать, что яхта Алексины Тинне сломала себе винт близ Мессины и едва могла добраться до этой гавани; и вместо нее нанят для меня Алексиную Тинне этот пароход. Он придет сюда завтра (т. е. в субботу) к вечеру. Воображаю, что такое эта «Сигара»! Была, вероятно хорошего сорта, но от старости сгнила и готова развалиться. Она готова к последнему подвигу своей старости; а вы готовьтесь дня через три прочесть в газетах «Крушение парохода «Сигары» и чудесное спасение мистера Джеррольда, корреспондента Times'a, при гибели всего экипажа». Чудесного в моем спасении ничего не будет; со мной плавательный снаряд системы Мэнби, улучшенный мною. — Буду писать перед отъездом, то есть ранее 9 часов вечера следующего дня. Джеррольд».

«Суббота, 17 июля, 5 часов вечера. Пришла «Сигара». Она против моего ожидания не чрезмерно не вкусна. — Дурная женщина эта М-те Дюбеллэ, но умная женщина и необыкновенно хитрая. Я сказал, что отправляюсь в 6 часов. Немедленно явилась ко мне М-те де Форкалькье и стала говорить в таком стиле: «У вас были неприятности с Элеонорой; она и я, мы не желали бы, чтобы вы — понимай: корреспондент Times'a, который может насолить — уехали с дурным мнением о ней. Пойдем, я помирю вас». — Я пожал плечами. — «Иду, если желаете того вы,

М-ме Форкалькье». — «Я прошу вас — мы идем в будуар той, которая с 11 часов следующего дня будет называться также М-ме де Форкалькье». Я ожидал чувствительной сцены, но не такой. Входим. Она сидит на кресле с Ремоном, сидеть рядом им обоим было бы тесно, потому она сидит на коленях у Ремона, прижавшись к нему, обвив его шею своими ручками, милый ангел любви и кротости. При моем входе, она стремительно бросается мне на шею и прежде чем я успел приспособить губы к ее поцелую, мой лоб, мои глаза уже лобызаются ею, затем начинается и длится едва ли не без конца поцелуй в губы; он прерывается лепетом: я была виновата перед вами; я понимаю, что вы охраняли общие интересы, всего нашего семейства; но я горда и вспыльчива простите меня, простите меня. — Будущий муж и будущая теща едва стащили ее с моей шеи. Вы скажете: «Не дурно», — погодите хвалить. Я сказал, что если она считает меня добросовестным советником, то я прошу у нее разговора наедине. «О, да! да! — Матап, Ремон, оставьте нас». Они уходят. Она начинает серьезным, кротким, но твердым тоном:

— Я знаю, что вы хотите сказать мне, мистер Джеррольд; сядем, и выслушайте меня прежде, чем высказывать ваше порицание. Я тщеславна; да, но поймите: у меня закружилась голова от мысли, что я госпожа всего здесь. Поверьте, это пройдет; это уже начинает проходить. Моя прошлая жизнь может служить вам речательством, что у меня нет недостатка в твердости воли. Мне казалось, что я могу без особенного вреда положению денежных дел моей будущей фамилии позволить себе те расходы, за которые вы порицаете меня. С издержками послесвадебной поездки, которые считаю я в 750 000 франков и которые не превысят этой цифры, сумма всех расходов на удовлетворение тому, что справедливо называете вы моим женским тщеславием, не превзойдет 1 460 000 франков. Я веду, как видите, аккуратный счет. Семейство, в которое вступаю я, жило уж десять лет экономно; сбережения за это время с процентами на них составляют теперь 5 380 000 с чем-то франков; я не запомнила цифры ниже десятков тысяч; впрочем, если хотите, я покажу вам счета парижского банкира фамилии Форкалькье; вы можете удостовериться, что я не ошибаюсь и не обманываю вас.

— Это было бы излишним. Я верю вам тем больше, что сам знаю: сбережения несколько превышают цифру 5 000 000 франков.

— Скажите ж, неужели такое тяжелое преступление моих будущих отца и матери бросить из этой суммы меньше, чем полтора миллиона, много меньше, чем одну третью часть ее, лишь немногим больше четвертой части, на удовлетворение моему головокружению, которое, поверьте мне, уж начинает проходить. Скажите ваши требования; вперед обещаюсь исполнить все их. Должна ли я, по вашему мнению, отказаться от этой послесва-

дебной поездки по континенту? Скажите, и услышите от меня: «отказываюсь».

Чорт возьми! Клянусь вам, мое положение было затруднительно. Редко кто успевал поставить меня в такое затруднение.

— Вы колеблетесь, мистер Джеррольд? Вам жаль меня? Не опасайтесь, я не буду плакать.

— Обещайтесь, что сумма расходов не превысит 1 500 000 франков и я доволен.

— Требуйте какого-нибудь другого обещания, мистер Джеррольд; давать это — бесполезно, потому что цифра несколько меньшая уже определена мной. Впрочем, даю его. Но мое желание остается не исполнено; я хотела, чтобы вы потребовали от меня какой-нибудь жертвы.

Я молчал. Чего еще мог бы потребовать я от нее? Мое желание было уже удовлетворено: я видел, что денежные интересы ее будущей фамилии безопасны под ее владычеством.

— Желаю, чтобы вы остались благоразумной, сдержали ваше решение, и не сомневаюсь, что вы сдержите его.

— Надеюсь. Позовите сюда Ремона и М-ме Форкалькье, если наш разговор наедине кончен. Но прежде пожмите мне руку.

Я подал ей руку; она крепко сжав ее, сказала:

— Все поцелуй, мистер Джеррольд, не достаточно прочная гарантия моего чувства к вам; они были порывом волнения. Теперь, вы видите, я спокойна.

Она взяла мою голову, наклонила к себе и поцеловала меня.

— Идите за Ремоном и моей новой матерью.

Я сходил за ними.

— Матап и Ремон, мы целовались без вас, поцелуемся и при вас.

Она снова поцеловала меня, крепко, — с искренним чувством. По крайней мере всякий видевший сказал бы так. Прервав долгий поцелуй, на который отвечали отцовской нежностью мое сердце и мои объятия, она проговорила:

— Теперь идите, займитесь вашими приготовлениями к отъезду.

О, какую смесью комедиантства и глубокого искреннейшего чувства была эта непредвиденная мною сцена; да, непредвиденная мною».

«Суббота 17 июля, 11 часов вечера. (Депеша обыкновенного письма.) Я все еще здесь. Матросы «Сигары» все мертвецки пьяны. Когда отпущенный Элеонорой (я снова называю ее так, потому что действительно примирился с нею, не на словах только, но и в душе), я приехал взглянуть, все ли готово к отплытию, я нашел матросов уже более чем полупьяными. Я отнял у них вино, толкал их в каюту экипажа, запер и ушел с тем, чтобы нанять новых матросов и приобрести нового капитана.

С человеком, допустившим такое безобразие, нельзя было плыть. Через час я возвратился на «Сигару» с новым капитаном и с новым экипажем. Я выдал прежнему капитану жалование за полгода ему и его матросам; пьяницы, услышав это, перестали роптать, прославляли отпущившего их с наградой, вместо наказания, и велел новому экипажу разводиться пары; остался сам наблюдать за этим. Через полчаса, новый капитан подошел ко мне и сказал: «Надобно набрать новый экипаж; эти матросы тоже уже напились». Я пошел посмотреть. Да, они были пьяны. Было уже 9 часов вечера. Где набирать новых матросов? Я рассудил, что скорее проспят эти. Послал попросить у ближайшего полицейского комиссара четырех надежных полицейских, обещав дать им хорошее вознаграждение за труд. Он прислал. Я отдал мой пьяный экипаж под их надзор, попросив капитана уведомить меня, когда они проспят; велел ему одновременно с этим уведомлением разводиться пары, не дожидаясь моего нового распоряжения, и возвратился к Форкалькье. Они, по обыкновению, собираются на бал; это будет последний передсвадебный бал в честь жениха и невесты; для него приберег свое право дать бал первый здешний миллионер. Все они уговаривали ехать с ними. Что ж, посмотрю, каковы бывают балы у марсельских миллионеров. Раньше двух часов утра, мои пьяницы не выспятся (с матросами, не вполне протрезвившимися, я не поплыву, потому что с утра поднялся ветер и все усиливается. Смерти я не боюсь, но без надобности тонуть не хочу). Мне тем легче было согласиться на просьбу настоящих Форкалькье и будущей Форкалькье, что на бале будет дочь префекта, Леония Бильо, которую все очень хвалят. Мне хочется взглянуть, что такое эта Леония, имя которой было на некоторое время соединено молвой с именем Ремона. Она выздоровела дня четыре тому назад и третьего дня уж начала выезжать; но на балах она еще не бывала; да и я не был; потому не случилось мне видеть ее. Вещи мои уложены к отъезду; я велел отвезти их на «Сигару» по уведомлению, что капитан начал разводиться пар, и пойду на мой пароход прямо с бала».

«Ночь с субботы на воскресенье, 2 часа 10 минут (шифрованная депеша). Разыгралась буря, отъезд невозможен с 10 часов вечера. Моряки говорят (да и сам я знаю здешнее море достаточно, чтобы видеть): буря продлится по крайней мере до вечера завтра. А как была подготовлена безопасность от погони! Вы понимаете: новый экипаж — отборные итальянцы Ремона, двенадцать бесстрашных героев, и пять таких же моряков, приисканных мною в Генуе и Ливорно. Вы понимаете: я подпоил через одного из них, надежного человека; вы понимаете: чем отвечали мои итальянцы и отборные итальянцы Ремона на мою просьбу делать как я говорю, не спрашивая объяснения: «хоть на эшафот пойдем по вашему слову, друг наш, не спросив, зачем». Они знают, что я делал десять лет тому назад в Риме и в Венеции. Да и после

делал я кое-что честное в Италии; это было сказано моим итальянцам вождями их в Генуе и Ливорно. Мы должны были уехать на пароход с бала. И до последней минуты оставались бы на палубе свидетелями невинности моего парохода четыре полицейские служителя, но буря все расстроила. Скверная история. До 10 часов я сохранял надежду. Скверная история».

Воскресенье, 18 июля, 10 часов утра. (Депеша обыкновенного письма.) Глупость женщин, даже пожилых превосходит всякое вероятие. Эта добрейшая и благороднейшая из старых дур, М-те де Форкалькье, была больна полторы недели тому назад и еще не поправившись, не давала отдыха, присутствовала на всех обедах и балах в честь ее сына и будущей дочери, то есть каждый день начинала наряжаться с 4 часов пополудни и оставалась в корсете до 5, 6 часов утра следующего дня. Она, по-видимому, воображала, что она корова. Не спорю, сходство есть, — если не со всякой коровой, то, по крайней мере, с откормленной. Но коровы не затягиваются в корсет и не сидят в принужденной позе больше половины каждых суток в бальной атмосфере, переполненной всякими отравляющими газами, из которых самый невинный углекислота. Старая дура на бале, начавшемся вчера, упала в половине третьего в обморок. Отнесли ее в спальную хозяйки, стали распускать корсет и ахнули от ее глупости: она затянула так туго, что от легкого прикосновения ножа толстый шнурок лопнул и половинки корсета разлетелись сами собой вытягивая освободившийся шнурок. Теперь, эта умная дама лежит на постели, разиня рот и все еще не надышалась досыта, чтобы дышать как по-обыкновенному. Свадьба отложена до выздоровления доброй, милой татап. Врач обещает, что она оправится ныне к вечеру. Здесь свирепствует буря, мой отъезд невозможен, Джеррольд».

«Понедельник, 19 июля, 8 часов утра (шифрованная депеша). Буря продолжается. Пока не получите новой шифрованной депеши, знайте, что буря все еще продолжается, отъезд все еще невозможен».

«Понедельник, 19 июля, 2 часа пополудни. (Депеша обыкновенного письма.) Вчера, в досаде на глупость моей милейшей приятельницы и действительно добрейшей на свете женщины, М-те Форкалькье, я не рассказал вам моих приключений на бале. Я был предметом оваций на нем. Наш разговор наедине с будущей дочерью моей милейшей дуры (которую я действительно люблю и потому действительно жалею до злости) был подслушан горничными (что и натурально при качествах французской прислуги и уже само по себе достаточно характеризует домашний быт французов). Когда мы приехали на бал, все дамы, которым представляли меня, говорили мне комплименты за верность моей дружбы к фамилии Форкалькье. Оказывалось, что наш разговор наедине с Элеонорой уж известен всему высшему марсельскому

обществу и в существенных чертах совершенно верно, лишь с маленькими прикрасами фантазии горничных вроде того, что я целовал руки М-ме Дюбеллэ (что, впрочем, очень могло быть, но чего в действительности не было). В четверть 2-го общество было приглашено перейти в столовый салон, чтобы освежиться легкой закуской. (До ужина было еще далеко.) Закуска была такая роскошная, и обещала быть продолжительной, что общество сидело как за ужином, а не ело в стоячку, или как французы называют à la fourchette. Являются слуги, подносят шампанское, берем бокалы; я жду тоста в честь жениха и невесты. Хозяин встает и говорит: «за здоровье верного друга, мистера Джеррольда!» Встает М-ме Дюбеллэ и говорит: «Право спича на этот тост принадлежит мне», делает очерк моих странствований и той пользы, какую удалось мне принести соотечественникам моим и людям других наций в некоторых из них и заключает словами: «Таков же он был и здесь в Марсели, как наш гость. Я обязана ему тем, что надеюсь заслужить уважение подавлением в себе той дурной склонности, за которую справедливо порицали меня благоразумные люди. Пью за здоровье моего верного друга, не отступавшего перед моим раздражением в исполнении своего правила быть полезным всегда и везде всем людям, к которым приводят его благородные обязанности публициста». Спич был покрыт аплодисментами. На тост в честь меня я отвечал тостом в честь французского общества, представителей которого вижу я тут, и в моем спиче говорил, что есть у французской нации недостатки, но она решилась исправиться от них, как теперь заявила подобное решение одна из благороднейших дочерей ее, которая не вполне несправедливо приписывает мне некоторое влияние на принятое ею решение, но преувеличивает значение моего действия ему. Оно было принято ею раньше, нежели произошло между нами объяснение, как это известно всем присутствующим здесь. Честь решения принадлежит ей, мне только право на имя честного друга, симпатизирующего благородной и твердой решимости ее. Через несколько минут, М-ме де Форкалькье упала в обморок; ее муж, сын и будущая дочь ушли в ту комнату, куда перенесли ее и когда врач нашел возможным перевезти заболевшую домой, то, конечно, отправились с нею. Я остался на бале и воспользовался случаем всмотреться в характер Леонии Бильо, которой был представлен хозяйкою дома вскоре после ее приезда на бал. (Она приехала поздно, во время закуски.) Это очень милая девушка.

Проснувшись ныне в 12 часу, я отправился взглянуть, что делается на моем пароходе. Там все в порядке, благодаря надзору четырех полицейских, так любезно предоставленных в мое распоряжение. Комиссар, которого благодарил я, сказал, что моя благодарность должна относиться не к нему, а к префекту, без разрешения которого он не мог бы исполнить моей просьбы. Я был

рад случаю познакомиться с г. Бильс и отправился к нему выразить признательность за его любезное одолжение. Мы говорили долго. Он вовсе не такой дурной человек, как уверяют враги правительства. Он пригласил меня обедать у него. Я сказал, что приеду, если не уплыву раньше. Но нет надежды отплыть ныне. Буря продолжает свирепствовать. Есть некоторые признаки, что она через несколько часов начнет ослабевать; но едва ли плавание станет безопасным хотя бы ночью. О болезни глупой старухи не стоит много говорить; опасности нет, но дура едва ли встанет и завтра. Таким образом, свадьба отлагается до вторника. Джеррольд».

«Понедельник 19 июля, 9 часов вечера. (Депеша обыкновенного письма.) Вчера я обедал у префекта, обедал и ныне; в этом состоит причина того, что я только теперь нашел досуг написать несколько слов. М-г Бильс рассказывал мне так много интересного о положении дел во Франции и о недавних событиях, что я, по возвращении от него, весь вечер писал, и только поздним утром ныне кончил письмо в Times. Это не депеша, а письмо, потому что дело идет не о новостях минуты; я делаю обзор фактов внутренней истории Франции за последние десять лет, с июньского восстания, выдвинувшего вперед кандидатуру принца Луи Наполеона на сан президента республики. Я излагаю понятия правительственной сферы об этих фактах; мое суждение было бы не уместно в этом обзоре хода дел с точки зрения нынешнего французского правительства. Отправив эту депешу к вам, буду писать другое письмо в Times; оно будет излагать содержание беседы префекта со мною за нынешним обедом. Он рассказывал мне свою жизнь. Я с его разрешения перескажу его рассказ английской публике. Характер изложения будет тот же: я передаю слышанное мною и только. Буду обедать у префекта и завтра, если не уплыву до того времени. М-ме де Форкалькье поправляется, свадьба назначена послезавтра, в среду в 2 часа дня. Молодые отправятся прямо из церкви в послесвадебное путешествие. Не ждите от меня депеш раньше вечера завтра, если не уплыву днем. Перед отплытием извещу вас, если оно будет раньше вечера. Джеррольд».

«Понедельник, 19 июля, 11 часов вечера (шифрованная депеша). Буря начинает утихать. Завтра к вечеру стихнет. Волнение будет еще велико, но не будет представлять опасности. Не ждите больше отсюда шифрованных депеш».

«Вторник, 20 июля, 11 часов 25 минут вечера. (Депеша обыкновенного письма). Сейчас возвратился от префекта, беседа с которым затянулась, как видите, на много часов. Если б я знал, какой это человек, я проехал бы со станции прямо к нему. Нового ничего, следующую депешу пошлю перед отплытием, которое будет после нового моего свидания с префектом. Я отправлюсь к нему в 9 часов утра, побывав на пристани и велев разводиться

пар. За трезвость моего экипажа я спокоен; она охраняется прежними неподкупными и не пьющими ни капли вина полицейскими служителями».

«Специя. Четверг, 22 июля, 5 часов утра. (Шифрованная депеша.) Без сомнения, вы измучились, мой друг, продолжительностью моего молчания. Молчать было надобно. То, что надобно, я делаю, не поддаваясь никакому чувству не согласному с надобностями дела. В ночь со вторника на среду, в половине 12-го часа, я простился с моим новым приятелем, префектом, у которого сидел весь вечер и отправился на пароход, купленный мною, но только фактически, а не документально; формальным образом он оставался принадлежащим пароходному обществу Рубаттини. Я заплатил деньги перед его отплытием из Генуи, потому что он мог быть пушен ко дну на плавании из Марсели сюда.

Мы условились, что пароход будет готов к отплытию в половине 2-го часа, на случай надобности нам поторопиться, но что если ничего особенного не случится, то мы отплывем в 2 часа; что Элеонора, Ремон, его отец и мать в половине 2-го часа сядут в две кареты, заедут за Леонией и поедут к тому уединенному месту пристани, где стоит наш пароход.

Измены в доме Форкалькье не могло быть. Прислуга семейства состояла из людей скромных, честных, любивших его. Не должно было быть затруднений и отъезду Леонии. Личные служанки ее любили ее. Две из них имели приятелей, уходили и приходили в ночное время (не потому, что скрывали свои связи, а потому, что днем и они и приятели их были заняты делом; по праздникам приятели приходили к ним и сидели с ними. Это были скромные девушки; приятели их были их женихи; таков обычай). Леония, надев платье одной из них, могла вместе с другой свободно идти из дому, не обращая на себя внимания другой прислуги, если бы встретились с кем она и ее подруга.

Мы условились, что экипажи — две кареты — подъедут в 50 или 55 минут 2-го часа к месту парохода на расстояние сотни шагов и остановятся на полторы минуты, потом подъедут совсем, и все наши пойдут немедленно на пароход, не ожидая никакой встречи, кроме поклона капитана.

В 45 минут 2-го часа я сказал четырем полицейским, охранявшим пароход, что при окончании их службы мне я и матросы, довольные ими, хотят выпить за их здоровье. Они пошли со мной в матросскую каюту. Там было одиннадцать итальянцев; нам нужно было двенадцать человек; двенадцатым был я. Двое оставались при машине; капитан и один из матросов были на палубе.

Я усадил полицейских за стол, каждого между двумя итальянцами (место одного итальянца занимал я, сев за стол лицом к двери), четыре другие итальянца прислуживали. Мы разговаривали и понемножку пили. Матрос, оставшийся на палубе, вошел, подымая обе руки поправить волоса; это значило: обе

кареты подъехали, остановились. Я поднял руку с платком; это был сигнал: едва платок коснулся моего лба, каждый из четырех, ставших позади полицейских, зажал рот своему полицейскому, двое, сидевшие по сторонам, схватили этого полицейского за руки. Не было ни одного крика, слышался только легкий шум отодвигаемых стульев и опускания схваченных полицейских на пол каюты. Через несколько секунд все четверо были связаны и рты им заткнуты. Через минуту Элеонора, Леония, Ремон, его отец и мать взошли на пароход и он двинулся полным паром. Было 58 минут 2-го часа ночи. Этот пароход делает 18 с половиною узлов в час. В южных гаванях Франции нет ни одного парохода такой быстроты. От погони из Марсели мы безопасны, но могли быть посланы корабли из Тулона наперерез нам. Если б один из них встретился с нами, мы пошли бы ко дну, потому что не было б ему другого средства остановить нас, кроме пуска ядра вслед за нами: нагнать нас не мог бы ни один из тулонских кораблей, мы имели б более двух узлов скорости в излишке против быстрейшего из них. Шанс встречи был очень мал, еще меньше был шанс попасть в нас ядром на расстоянии половины километра (ближе нельзя было бы подойти к нам, хотя бы враг шел на нас в направлении наименее выгодном для нашего ухода от него): ночь была лунная, но по небу шло много туч, закрывавших луну на четверть часа, на полчаса, оставлявших ее светить лишь по три-четыре минуты. Шанс нашей гибели был очень мал, но все-таки был. Я не говорил об этом никому. Все наши воображали себя в полной безопасности с той минуты, как пароход начал отодвигаться от берега. До высоты Тулона мы были совершенно безопасны. Но когда мы приближались к ней, мое сердце стало биться несколько чаще, чем следует биться ему у мужчины в минуты опасности. Полюбил я всех их: и Ремона, и Леонию, и отца и мать Ремона; но от мысли о их гибели не трепетало бы мое сердце; горячо я люблю только Элеонору. Я смотрел в телескоп по направлению к Тулону, высоту которого проходил далеким уклоном на юг. Показывались несколько раз корабли между нами и тем местом, где стоял далеко за нашим горизонтом Тулон; но они шли не наперерез нам, а с востока на запад, из гаваней Тосканы и Лигурии в Марсель; и это были не военные корабли, а почтовые и коммерческие пароходы. Когда мы прошли высоту Тулона, я передал телескоп капитану, сошел в пассажирский зал, где сидели Леония, Ремон, его отец, мать и моя милая Элеонора, беззаботно разговаривая. «Теперь мы в полной безопасности», — сказал я им. «А разве была опасность?» — спросили они с удивлением. «Очень небольшая, но была; не от Марсели, но от Тулона». Я растолковал им, что нагнать нас нельзя, но можно было успеть перерезать нам путь.

Мы сделали далекий обход на юг; потому наше плавание было несколькими часами продолжительнее, чем могло бы быть без

этого уклона, составлявшего прибавку пути на 60 или 70 морских миль (узлов). Мы вошли в гавань Специи в 8 часов 32 минуты вечера, вышли на берег в 8 часов 49 минут (я считаю по марсельскому меридиану. В Специи время было несколько позднее). Нас ждали на пристани кареты; мы отправились прямо в церковь (св. Аннунциаты). Там уже были зажжены люстры, собирался народ смотреть бракосочетание сына и дочери соседних довольно богатых землевладельцев. Мы вошли в церковь; я подошел к священнику, сказал ему: «я повторяю вам ту просьбу, которую вы уж слышали»; он обратился к народу и сказал, что невеста, увидеть которую собрались его прихожане и другие благочестивые люди, просила извинить некоторое промедление: прическа ее случайно расстроилась; нужно четверть часа поправить волоса; тем временем он обвенчает другую свадьбу; и начал обряд бракосочетания французских гражданина и гражданки Ремона де Форкалькье и Леонии Бильо. Перед концом их венчания, приехали жених и невеста, которых ждал народ. Невеста в великолепном кружевном платье сказала Леонии: «Благодарю вас за прекрасный подарок». Леония отвечала: «Это подарок не от меня, от моей подруги, которая не может надеть приготовленного для нее кружевного платья, потому что решила сделать свою свадьбу самым скромным образом». «Я тем более благодарен вам,— сказал жених Элеоноре,— что ваш подарок ускорил нашу свадьбу целой неделей».

Элеонора хотела отправиться по направлению в Англию с первым поездом. Он отходил через 7 или 8 минут. Мы уговорили ее быть на свадебном пире невесты, жених которой благодарил ее за ускорение их свадьбы. Мы не ждали приглашения, тем приятнее была для нас эта любезность. Сельский дом жениха находится в одной итальянской миле от города. Мы провели с гостями наших хозяев полчаса, потом перешли в отдельную комнату, приготовленную для нас, поговорили, выпили несколько тостов, попрощались и разъехались. Отец и мать Ремона возвратились на пароход и поплыли в Марсель. Ремон и Леония отправились на юг; они будут месяца два путешествовать по Южной Италии, Сицилии, съездят посмотреть Грецию, Константинополь, берега Леванта и обозревая берег Африки возвратятся в Марсель. Кстати о Леонии. Я получил две депеши от отца ее. В первой, он, отвечая на мой вопрос, говорит, что декрет о предании его суду уничтожен (как я предсказывал ему в своем вопросе, потому что возможное ли дело для бонапартистской высшей компании разоблачать такие подвиги усердных слуг?); но что отставка ему дана. Во второй депеше, он просит меня благодарить Гастона де Форкалькье за назначенную ему пенсию в 10 000 франков; он не знал, что он обязан собственно мне цифрой этой пенсии; Гастон де Форкалькье хотел дать ему 50 000 фран-

ков; я сказал, что в пять раз меньше будет в пять раз полезнее для его здоровья: в пять раз меньше будет распутничать.

Я, подобравшись так близко к Альпам, буду пробираться по ним до Карпатов, если не остановит этого путешествия какое-нибудь поручение мистера Дилена, более интересное или важное. Вы теперь достаточно знаете меня: моя несчастная страсть к охоте лишь предлог бродить между народом. Впрочем, я стреляю превосходно, не только пулей; и бью много птиц, но не тех, как другие охотники. Увидимся, то расскажу историю девицы, которую клевали куры и носили на рогах коровы; она была дочь охотника; и если б у меня была дочь, то отцом героини моего рассказа был бы именно я.

Проводив стариков во Францию, молодых Форкалькье на юг, мы с Элеонорой приехали на станцию Генуэзской дороги. Я вызвался проводить мою милую Элеонору до Лондона; она сказала, что доедет и одна. Я проводил ее в вагон; мы обнялись; пора было уйти мне; я поцеловал ее руку — моя милая Элеонора достойна того. Поезд двинулся и я остался на дебаркадере один. И гораздо лучше, что она не взяла меня с собой. Хорошие женщины хороши, не спорю; но есть у них одно общее со всеми другими женщинами не похвальное качество: только останься подольше их собеседником, то сам не заметишь, как тебе уж подыскана невеста, и не успеешь хлопнуть раза два глазами от удивления, как уже увидишь себя обвенчанным, и твоя приятельница, хорошая женщина, поздравляет тебя с счастливым браком. Хотите послушаться опытного человека? Не женитесь на Элеоноре, которая через два дня приедет в Лондон и на первый раз остановится у мистера и миссис Бриггс, приславших ей еще в Марсель приглашение быть их гостьей. Вашим уважением к мсей опытности заклинаю вас: не женитесь на ней; это будет очень хорошо по двум резонам, одному для нее, другому для вас. Она сохранит уважение к себе, которое утратит, вышедши замуж. А вы, когда доживете до 37 лет, то увидите, что вы старый дурак, как вижу я теперь о себе; это хорошо: дуракам легче жить на свете, чем умным людям. Джеррольд».

— Отдохните, М-г Вязовский, — сказала баронесса: — И не отложить ли нам продолжение рассказа до следующего четверга? Теперь, уж почти четверть 3-го, а мы не остаемся здесь позже 3-х часов. Лидия встает довольно рано, в 10.

— То, что остается мне досказать, займет немного времени, баронесса, а я нисколько не устал.

— В таком случае, продолжайте.

Через два дня, Элеонора приехала в Лондон. Мы повенчались.

Элеоноре не хотелось расставаться с матерью и отцом, людьми действительно добрыми. Она была одна у них; жалела покинуть их, горячо по-своему любивших ее. Я попросил мистера Бриггса назначить меня помощником представителя нашей фирмы в Марсели. Он сказал:

— Ваше желание будет исполнено, мистер Сеттембрини. Я предвидел его и обдумал, как это сделать получше. Я сильно раздосадован на вас за то, что вы оправдали вашей просьбой мое предположение. Вы знаете, что вы надобен мне здесь. Еще больше досадуя я на миссис Сеттембрини, виноватой в этом. Но мое чувство само по себе, а правила, по которым я должен решить дело, сами по себе. Желание миссис Сеттембрини достойно всякого уважения, потому я обязан исполнить его, как могу. Она и вы хорошо понимаете сами, да и миссис Бриггс говорила ей, что вам, мистер Сеттембрини, предстоит блестящая коммерческая карьера, если вы останетесь при мне. Но миссис Сеттембрини и вы такие люди, которые понимают, что такое они делают, и поэтому не раскаиваются в том, что делают. Рассмотрим ваше желание в той форме, какую вы дали ему, чтоб оно было наименее обременительно для меня. В этой форме оно неудобноисполнимо. Вы занимали здесь положение с формальной стороны невысокое, но на деле гораздо более высокое, чем должность представителя нашей фирмы в Марсели, одном из второстепенных пунктов наших операций. Ваши отношения к тому, кто по форме будет вашим начальником, будут по необходимости неудобными для него. Вы пользуетесь несравненно большим доверием у меня, чем он. Какой же вы подчиненный ему. И он один успевает делать все; на что ж ему помощник? — Притом, так как миссис Сеттембрини хочет жить с отцом и матерью, то ей следует жить не в Марсели, а в Арле. Все светлые воспоминания их жизни соединены с Арлем, с их домиком, их виноградником. Вы человек скромный в своих денежных желаниях, миссис Сеттембрини и того скромнее. Назначить вам большое жалованье по должности представителя нашей фирмы в Арле я не могу. Спросите у миссис Сеттембрини, найдет ли она достаточным, если вы будете получать 400 фунтов.

— Для Арля 10 000 франков очень большие деньги; — сказал я: — когда мы с миссис Сеттембрини говорили о том, какое жалованье может быть дано мне по должности, которой просил я, мы находили, что и в Марсели нам будет достаточна цифра несколько меньше той, которую назначаете вы. А для Арля — это очень большое изобилие денег. Но для нашей фирмы нет надобности иметь представителя в Арле. Вы не единственный собственник интересов фирмы, я должен полагать, что вы хотите назначить мне жалованье из собственной вашей кассы.

— На первое время да. Но я полагаю, что скоро вы найдете в Арле для нашей фирмы дела достаточно обширные для того,

чтоб я имел право перенести ваше жалованье из моего личного счета в счет фирмы и взять обратно себе выданные вам деньги, которые окажутся авансами для управляемых вами дел.

На шестой день после нашей свадьбы, я уже присматривался в Арле, какое бы предприятие могло дать выгоду нашей фирме. Долго присматриваться было не нужно: в то время очень большие выгоды сельским хозяевам департамента Устий Роны давало производство марены. Оно велось допотопными способами. Придавав ему тот характер, какого требует настоящее положение технических знаний, можно было получать очень большой процент на капитал. Я занялся этим, дело пошло хорошо. Я купил участки в тех местностях, наиболее благоприятных производству марены. Я построил громадные здания для переработки продукта наших плантаций и закупаемого мною сырого материала.

Наша жизнь была приятна. Нас любили в Арле и в Марсели, с семейством Форкалькье мы были как родные. Это понятно само собой. Не только Элеонора была сестрой Леонии, но и мать ее пользовалась таким почетом в семействе Форкалькье, как будто была близкая старшая родственница матери Ремона. Пока был жив отец Элеоноры, ее мать проводила время наполовину с ним и с нами, наполовину в семействе Форкалькье; когда он умер (на восьмом году моей жизни в Арле), М-ме Вердье почти совершенно переселилась к Форкалькье. Можно сказать: у нас она только гостила, жила у них. Понятно: у них она пользовалась роскошью, какой не имели мы.

На десятый год моих занятий производством, закупкой и переработкой марены появились известия об открытии анилиновой краски, заменяющей ее. Я полагал, что это долго будет сохранять лабораторный характер, что я успею вынуть капиталы из нашего производства раньше, чем выделка ализарина получит фабричный размер. Я скупился продавать в убыток наши запасы; я жалел остановить работу на наших плантациях и заводах, не приискав других занятий для наших работников. Я нашел занятие им и остановил наше производство марены. Я продал значительную часть наших запасов ее без убытка для фирмы. Но цена стала много ниже издержек нашего приобретения огромных запасов, еще остававшихся на руках у меня. Я поехал в Лондон лично объяснить мистеру Бриггсу до какой степени виноват я в убытке, которому подвергнет фирму основанное мной предприятие.

— Да, — сказал он: — если бы вы меньше боялись продавать в убыток, пока можно было продать без большого убытка, было бы лучше. Но я разделяю вашу вину перед фирмой. Кто утверждал ваши соображения об медленной ликвидации предприятия? Притом, фирма могла бы вынести и не такие убытки без малейшего стеснения для себя. — Он замолчал и задумался.

— Знаете ли, на чем я хочу остановиться — начал он: — по какой бы цене ни продали мы наши запасы, почти вся сумма, какую выручим мы, составит чистую потерю для купивших. Цена марены будет все падать. Самое лучшее было бы сжечь все наши запасы, чтобы не вредить людям большею частью небогатым. Но это было б эффективно. Я не люблю эффектов. Заприте ваши склады, пусть запасы лежат. Все будут смеяться над нами, что мы выжидали улучшения цен. Пусть смеются. Лет через пять, когда цена перестанет падать мы продадим наши запасы.

— Вероятно, на топливо, мистер Бриггс?

— Вероятно. Ликвидируйте остальные отрасли дела. Кончайте дело скорее и возвращайтесь ко мне. Мы переговорим тогда, какое новое назначение можете получить вы от фирмы.

С первым поездом, я выехал в Арль, пробыв в Лондоне часов пять. Мои отец и мачеха, которую справедливо называл я матерью, уже не были тогда в живых. Мои братья и сестры были милы мне, но уже давно отвыкли от меня, сделавшись в эти двенадцать лет из подрастающих юношей и девушек отцами и матерями семейств. Все они жили безбедно и благоразумно, не нуждаясь ни в помощи моей, ни в советах. Сестры мои жили в Лондоне. Я повидался с ними; попросил их передать мои приветствия братьям.

Сестры оправдывались множеством дел в том, что они и братья давно прекратили переписку со мной. Я сказал, что не мог и тогда осуждать их за молчание на мои письма: у нас было очень мало общего. Один мой брат был профессор греческого языка в Кембридже, другой офицером; обе сестры вышли за людей светского общества и вели жизнь богатых женщин того класса, который занимает средину между средним сословием и аристократией.

Через полтора месяца, я возвратился в Лондон, кончив ликвидацию; баланс убытков составлял несколько более 185 000 фунтов. Мистер Бриггс предвидел приблизительную величину его по моим письмам, знал точную цифру по депеше, отправленной мною при выезде из Арля. Я ехал один; Элеонора с детьми оставалась в Арле, потому что мы не знали, где получу я новое назначение. Мы думали о Леванте, Египте, Тунисе, потому что фирма наша расширяла свои обороты по торговле с теми землями и от времени до времени учреждала там новые агентуры. Думали мы также о Христиании, Бергене, Копенгагене, Данциге, Кенигсберге. Мистер Бриггс любил повышать наших представителей в северных пристанях, переводя их в гавани более благоприятных климатов. Потому, вакансии там бывали часты.

— Я взял в счетах моих с фирмой весь убыток на себя, — сказал мне мистер Бриггс: — какую долю его дозволю я вам считать лежащей на вас — дело не имеющее практического зна-

чения в настоящее время, потому что у вас нет никаких средств уплаты. Но я изложу вам план, принятие которого может в довольно скорое время сделать вас, мистер Сеттембрини, из моего должника компаньоном моим, имеющим довольно большой капитал. Если вы примете мое предложение, я предоставляю вам самому определить, какая часть убытка должна считаться лежащей на вас; вы говорили о половине; я говорю: считаю по-вашему, если вы примете мое предложение; если же нет, то нет, не соглашаюсь считать никакого долга мне на вас.

— Я принимаю ваше предложение, в чем бы ни состояло оно.

— Я надеюсь, примете, выслушав его; но выслушав обдумайте зрело, прежде нежели давать мне ответ. Выгоды будут велики для меня; велики и для вас; а впоследствии, будут велики и для фирмы. Но есть и очень тяжелые условия хорошего осуществления этого плана, за исполнение которого и браться не стоит, если не иметь твердой решимости посвятить исполнению его все свои силы на число лет значительное даже и для вас, хотя вы двадцатью годами моложе меня. Будь вы не только моих лет, но лишь десятью годами старше, чем вы теперь, я не предложил бы вам этого назначения. Самое тяжелое из условий, о которых говорю я — именно продолжительность периода, на который надобно связать себя — конечно не формальным обязательством, а только нравственным. Другое тяжелое условие — климат; третье — невозможность для миссис Сеттембрини часто видаться с матерью, которая наверное не захочет ехать с вами в ту далекую страну сурового климата, а главное не захочет покинуть своих друзей Форкальке, в семействе которых наслаждается роскошью, какой не могла доставлять ей дочь.

— Я имею уверенность, что миссис Сеттембрини одобрит мое намерение принять ваше предложение. Тяжелых условий мы не боимся, я напишу ей; назовите страну, о которой говорите вы.

— Писать не достаточно; вы должны будете съездить в Арль. Такие дела не должны быть решаемы иначе, как по живым впечатлениям личных совещаний. Вы и миссис Сеттембрини без сомнения пересматривали в ваших разговорах те местности, в одну из которых можете быть назначены вы представителем нашей фирмы. Вероятно, вы не забывали и северных центров торговли.

— Да, мы говорили и о них.

— Имели ли вы в виду возможность вашего назначения в важнейший из этих центров — Петербург?

— Нет. Это место занято человеком, который, как мы знаем, выражал намерение возвратиться в Англию на отдых не раньше как через два года и который имеет право считать свое желание обязательным для фирмы. Он служил ей так долго и с таким усердием к ее интересам, с такою пользою для них. Вы не можете поступить с мистером Боурингом несправедливо.

— Без сомнения, не могу. И притом твердо знаю, что мистер Боуринг будет оттягивать и оттягивать срок своего возвращения в Англию. Я рассчитываю, что он оттянет его на четыре года. Но если б он пожелал возвратиться на родину для отдыха своей старости не раньше, как через 10 лет — срок при его 74 годах неправдоподобный — то он оставался бы на своей должности десять лет, получая от нашей фирмы такие же постоянные просьбы продолжать свою службу, как получал до сих пор. Он человек добросовестный, не останется на должности, когда почувствует силы свои действительно ослабевшими. У меня совершенно иная мысль, чем неблагодарность к нему. Ни одна иностранная фирма не имеет в Петербурге представителя лучшего, чем мистер Боуринг. Но он, подобно своим сотоварищам по положению, чужд русской жизни. Я хотел бы, чтобы когда его место через два ли года, или через четыре, или через восемь, десять сделается по его собственному желанию вакантным, то было бы занято человеком, который знал бы русский язык и русскую жизнь, как знают русские. Я предлагаю вам приготовиться к исполнению этого моего желания. Переселяйтесь в Россию, куда вы хотите, лишь бы только это была местность чисто русская, и изучите русский язык так, чтобы говорить по-русски так, как говорят русские, так чтобы ни поселянин ни горожанин не могли заметить, что вы не русский, пока вы сам не скажете им этого; изучите русские обычаи так, чтобы держать себя с простолюдинами ничем не отличаясь от просвещенных русских, бывающих в гостях у них. Вы можете достичь этого, если захотите.

— Я захочу, мистер Бриггс. Я понимаю, какое значение для оборотов нашей фирмы с Россией и для выгоды русских, насколько их интересы соприкасаются с нашими, будет иметь то обстоятельство, что представитель фирмы будет говорить с русскими, как свой со своими. И я полагаю, что способен усвоить себе русский выговор во всей его чистоте. Я чистый итальянец по языку; и чистый англичанин; и чистый француз; и буду чистым русским. Я лишь в недавние годы занялся изучением дофинейского наречия, и теперь, через три года, я говорю на нем как чистый дофинеец. Это ручается, что я еще не утратил способности усваивать себе чистоту нового для меня выговора. Скажу больше: приучившись говорить одним наречием языка, труднее научиться говорить совершенно чисто на другом наречии того же языка, чем усвоить себе в такой же чистоте совершенно другой язык.

— Отправляйтесь же в Арль, поживите там неделю и через неделю — никак не раньше — или отправляйтесь с вашим семейством сюда, чтоб отсюда ехать в Россию, или откажитесь от этого моего предложения; оно будет в таком случае заменено другим совершенно по вашему выбору.

— Я думаю, что мы с миссис Сеттембрини выберем Россию.

Та обязанность, которую приму я на себя этим выбором очень почетна, прямо скажу: хороша, и быть может мой пример будет полезен для других.

Я поехал в Арль; прожил там неделю и послал мистеру Бриггсу депешу, что выбираю Россию. В тот же день, я получил депешу, излагавшую денежные условия принимаемого мною предложения. Само собою разумеется они были более, чем справедливы в наших интересах.

На добрую мать моей жены не бросит тени, когда я скажу правду. Она была рада нашему отъезду из Арля, он давал ей свободу совершенно переселиться к Форкалькье. Долгие годы трудовой жизни дают человеку право желать удобства и почета, и если мы несколько увлекаемся, доводя свою потребность удобной жизни в годы старческого отдыха до некоторого пристрастия к роскошной обстановке, когда она доступна нам, несправедливо было бы строго порицать нас. М-те Вердые никогда не имела притязаний быть идеалом всех доблестей стоицизма; она хотела только быть честной, доброй женщиной, была такой до разлуки с нами и осталась такой, окончательно вступив на правах родственницы в семейство Форкалькье.

Мы выехали из Франции весной 1870 года, прожили в Лондоне месяца три и летом этого года приехали в Россию. Мы поселились в Москве; делали всем семейством путешествие по Волге, по железным дорогам южной половины России, посетили Кавказ; а один, я ездил и в такие местности, куда не было удобных путей. Жили мы всем семейством по месяцу, по два в нескольких губернских или уездных городах, по две, по три недели в хорошую пору года в селениях нескольких губерний на юге от Москвы; а один, я живал по неделям и зимою в деревушках, занесенных снегом, и не только в хижинах с обыкновенной топкой печи, но и в курных избах.

Много странствовали мы, но большую часть года проводили в Москве и, собственно говоря, были жителями ее. Так прошло семь лет. На восьмом году нашей жизни в России, по преимуществу в Москве, мистер Боуринг стал чувствовать, что дряхлеет; я утратил возможность упрашивать его, оставаться представителем нашей фирмы в Петербурге. Он уехал пользоваться на родине заслуженным отдыхом в глубокой старости. Я занял его место.

Не скажу, что нам, моей жене и мне, не было приятно это очень значительное возвышение моего положения. С денежной стороны оно представляло выгоды, которыми не могли дорожить мы, имея четырех дочерей. Не скажу, что не было приятно нашим двум старшим дочерям переселиться из Москвы в столицу и более блестящую и имеющую гораздо более многочисленное английское общество, чем Москва и уже не только по сравнению с Москвой, но и независимо от всяких сравнений много-

численное французское общество. Но выгоды и нравственные привлекательные стороны Петербурга не были так сильны над нами, чтобы не жаль было нам расставаться с Москвой; мы имели там столько друзей; да полюбили и самый город, такой своеобразный, имеющий, конечно, свои недостатки, но делающийся милым всякому, кто долго поживет в нем, следовательно имеющий в своей оригинальности больше хорошего, чем дурного. Положение наших денежных дел в конце московского периода нашей жизни было уже вполне удовлетворительно. Мое назначение жить в России без всякой обязанности, кроме добросовестного изучения русского языка и быта было мыслью мистера Бриггса; оно не представляло в близком будущем ничего, кроме лишних расходов; потому он не мог отнести моего жалования на счет фирмы, принял его на счет своей личной кассы. Он не возложил на меня никаких банковских или торговых обязанностей, но открыл мне неограниченный кредит в размере своих личных средств очень значительных. Я уклонялся от всяких столкновений с оборотами, какие вел мистер Боуринг на счет нашей фирмы; но при моей жизни в Москве, при моих поездках каждый год на нижегородскую ярмарку, вниз по Волге и в Одессу и оттуда через Киев и Харьков разными путями обратно в Москву я, имевший всегда в своем распоряжении сотни тысяч фунтов и если бы понадобилось, то и больше, не мог не производить очень больших закупок и продаж; — скажу не к своей чести, а только для разъяснения правил мистера Бриггса: я делал покупки и продажи только в тех случаях, когда не представлялось продавцу другого покупателя, покупателю другого продавца, кроме меня; я не отбивал ни у кого не только хлеба, но и таких выгод, без которых легко было бы ему обойтись. Все так, но при громадном свободном капитале, я не мог не вести оборотов очень выгодным образом; это понятно каждому коммерческому человеку. Часть выгоды мистер Бриггс предоставлял мне, как своему комиссионеру; по этому — конечно великодушному с его стороны — счету мой Арльский долг ему был через шесть лет, по моем приезде в Россию, совершенно уплачен и ко времени нашего переселения в Петербург я имел более 35 000 фунтов своего капитала.

В Петербурге я занял положение более выгодное, чем должность личного комиссионера мистера Бриггса. Теперь, через одиннадцать лет я владею довольно значительной долей участия в капитале нашей фирмы. Словом, если не по лондонскому, если даже не по петербургскому, то по марсельскому счету я очень богатый человек. Будущность моего семейства с избытком обеспечена, и я начинаю мечтать об отдыхе и свободе.

Я даже стал позволять себе пользоваться некоторой свободой. Первое употребление, какое сделал я из нее была поездка в конце прошлой осени на родину. По закрытии навигации, мы всем семейством поехали в Италию; и мне хотелось больше, нежели в

других частях ее, пожить в моей родной местности. Исполнение моего желания зависело только от меня, моей жены и наших детей; следовательно я пожил довольно долго в моем родном селении на берегу По.

Были мы и в Венеции, и в Милане, и в Генуе, и в Флоренции, Неаполе. Мы прожили в Италии всю русскую зиму, возвратились в Петербург к открытию навигации. Теперь, прошло полгода и даже несколько больше с того часа, когда я в последний раз взглянул с перевала Альпийского хребта на итальянскую землю. Впечатления моей поездки в страну моего рождения получили спокойный характер.

Выскажу одно из тех чувств, которые волновали меня в стране моей нации.

Я итальянец по происхождению и по милым воспоминаниям детства; я итальянец и по безукоризненной чистоте моего итальянского языка; я читаю газеты всех важнейших европейских государств, читаю в том числе итальянские. Если б я стал говорить во Флоренции об общих итальянских и в частности о тосканских делах, человек, не знающий, кто я, мог бы думать, что говорит с флорентийцем, не покидавшим Флоренцию, кроме как для поездок сравнительно непродолжительных. И сотни людей во Флоренции принимали меня за уроженца и постоянного жителя Флоренции; и не было случая, чтобы кто-нибудь, не знающий меня, говорил со мною во Флоренции не как с флорентийцем, не говорил со мною так до самого конца нашего разговора, если я не сообщал ему, как давно покинул я Италию.

Итак, я мог бы говорить с итальянцами об итальянских делах. Но не говорил. Я не принимал участия в разговоре, когда говорили о них.

Люди нации, к которой принадлежу я по моему происхождению, порицали меня за то, что я молчу, когда они говорят о своих национальных делах.

Справедливо ли это порицание?

Я люблю мою родину, но жизнь сделала меня чужим ей.

Вязовский встал.

— Мой рассказ кончен, но я прошу выслушать еще несколько слов.

Я не Сеттембрини; я не покинул мою страну с детства, как он, я всю мою жизнь провел безвыездно в ней, и не могу сказать, как он, что стал чужим ей; чтоб его слова могли быть справедливо повторены мною от моего лица, я должен несколько видоизменить их; итак — но предупреждаю: когда я скажу мое оправдание от моего лица, и остановлюсь не прерывайте молчания; после некоторой остановки, я скажу еще несколько слов. Итак, вот оправдание от моего лица моему молчанию при разговорах моих соотечественников о наших делах:

— Я люблю мой родной народ, но я чужой ему.

Вязовский сел, помолчал несколько секунд, встал и начал:
— Понравился или не понравился мой рассказ обществу, слушавшему его, но уже по обязанности соблюсти приличия оно без сомнения желает аплодировать. Я не уклоняюсь от оказания мне чести аплодисментом, напротив, я прошу о ней и надеюсь заслужить ее не только по вашему, но и по моему собственному мнению теми словами, которые произнесу после следующей паузы.

Он обвел глазами весь зал; он искал глазами княгиню; и не нашел. В горячности своей импровизации, он забывал о ней; теперь, вспомнил, что уж давно не замечал ее на прежнем отдаленном месте, в последнем полукруге, на котором лишь три, четыре места были заняты; ему вспомнилось, что она перешла туда из переднего полукруга давно; не замечая там ее, он думал, что она перешла на другое место; но нет, ее не было нигде. Но он мог и не от нее узнать то, что было нужно ему: баронесса была почти такой же хозяйкой тут, как она. Он сошел с эстрады, подошел к баронессе и сказал ей:

— Баронесса, я не вижу княгини; но я по всему замеченному мною должен полагать, что вы имеете и при ней почти полные, а в ее отсутствии совершенно полные права хозяйки. Так ли это?

— Так, мой милый Павел Сергеич.

В какую милость вошел он у нее! Вместо прежнего «М-г Вязовский» он был теперь ее милый Павел Сергеич! Что ж, это хорошо.

— Позвольте мне, баронесса, предложить вам тихо один вопрос.

— Отойдем немного в сторону, — сказала баронесса: — но не зовите меня баронессой, зовите, как близкую знакомую, просто Верой Дмитриевной.

Что за чудеса! Но некогда было разбирать их. Вязовский сказал несколько слов прежней «баронессе», теперь просто «Вере Дмитриевне». Она обыкновенным голосом, слышным для всех, бывших не очень далеко, сказала:

— О, конечно, да, — и еще громче сказала: — Наденька, подойди сюда, я дам тебе поручение.

Подошла графиня. Прежде чем слушать баронессу, она горячо пожала руку Вязовскому, сказав:

— Как я благодарна вам, Павел Сергеич!

Он и для нее стал Павел Сергеич, должно быть тоже милый. Чудеса и чудеса!

— Вы могли бы звать ее просто Наденькой, — сказала баронесса: — она так полюбила вас.

— Помилуйте, Вера Дмитриевна, как же можно мне звать графиню так.

— Не хотите звать Наденькой, зовите Надеждой Николаевной — однако в любви вы успеете объясниться после. Теперь слушай, что я скажу тебе на ухо.

Баронесса сказала графине на ухо несколько слов. Графиня ушла из зала. Баронесса сказала:

— Я очень рада, Павел Сергеевич, что вы доставили мне случай высказать вам мое мнение о вашем рассказе несколько раньше, нежели могла бы сделать это без него. Отойдем еще подальше от других и сядем.

Она пошла с ним в дальний остававшийся безлюдным угол зала за последним полукругом диванов и стульев аудитории. Посадив Вязовского рядом с собой на диван, она тихо сказала ему:

— Павел Сергеевич, возможно ли делать так! Лидия должна была уйти. Впрочем, она слышала все: она села вот за тою отворенной дверью, в пустом зале.

— Что ж такое говорил я? — спросил он с изумлением, но не забыв, что надобно говорить тихо.

На лице баронессы выразилось удивление и смущение.

— Так вы говорили все это не преднамеренно? В таком случае я сделала ошибку, заговорив об этом. Впрочем все равно: не я, то Леренька сказал бы вам. И невозможно вам не знать этого, когда вы будете жить здесь.

— Да что же такое, Вера Дмитриевна?

— То, что Лиденька вдова. И то, что она уж два года перестала носить траур; и то, что ей двадцать семь лет. Вы не знали этого?

— Помилуйте, Вера Дмитриевна, как же не знать? — все знал.

— И вы вздумали рассказывать об Элеоноре Дюбеллэ!

— Да, это точно! Молодец я; очень умен, — отозвался о себе с заслуженным одобрением Вязовский.

— Да это была бы непостижимая дерзость, если бы мы не видели, что это крайняя наивность. Но мы все глубоко благодарны вам, я, Леренька и Наденька, — сказала баронесса, вставая и своей рукой с длинными несколько сухощавыми пальцами пожала его руку так горячо, что на том месте края ладони, на котором лежал ее перстень, осталось резкое красное пятно.

— Я сделала боль вам, — сказала она.

— Разумеется, Вера Дмитриевна, как же не сделать боли, когда осталось пятно? Сделали, но очень мало; помилуйте, было чуть слышно.

— Придумайте что-нибудь всем в объяснение нашего разговора.

— Чего тут придумывать, Вера Дмитриевна: повторю свое оправдание.

— Прекрасно.

Баронесса пошла к эстраде; он шел с ней. Остановившись у своего места перед эстрадой, она сказала, обращаясь ко всему обществу:

— Поручение М-г. Вязовского, переданное мною Наденьке, должно оставаться секретом; но нет причины скрывать от нашего общества то, о чем говорили мы с М-г. Вязовским там, в дальнем углу: я сделала ему выговор за оскорбление всего общества. Он слишком дерзок. Он взойдет на свое прежнее место, чтобы обществу удобнее было слышать то, что он имеет сказать. То, что будет говорить он теперь, мы не должны считать освобождением нас от обязанности удерживаться от выражений нашей признательности к нему до того времени, когда он сам попросит нас об этом.

Вязовский хотел идти к эстраде; но из первого ряда поднялся стройный мужчина, лет тридцати, с добрым и умным выражением серых глаз, с белокурыми, длинными, вьющимися, шелковистыми волосами.

— Серпуховский, — назвал он себя, делая поклон Вязовскому: — я приехал уже в то время, когда вы начинали рассказ и без сомнения только потому не был представлен вам княгиней. Я не слышал лишь немногого, как мне говорили; о том, что Сеттембрини кончил курс в Кембридже и поступил в контору Бриггса, вы рассказывали уже при мне.

— Тетушка, — обратился князь к баронессе, — вы заступаете место хозяйки, то рекомендуйте меня Павлу Сергеичу, — М-г. Вязовский, вы позволите мне называть вас так? — Кстати, тетюшка, где Лидия? Она ушла вскоре после того, как я вошел; вошла во время первого перерыва и опять ушла и уже не показывалась, так что я и не успел поздороваться с ней.

— Племянник мой, брат Наденьки, князь Валерий Николаевич Серпуховский; хороший молодой человек, должна я прибавить, потому что — хочу похвалиться — был лет с десяти моим воспитанником и до сих пор живет при мне. Ему это стеснительно, но он жалеет покинуть бездетную старуху, для которой почти заменяет сына и совершенно заменял бы, если бы был годами пятью моложе, когда я должна была взять к себе его, сироту. Почему пропала от нас Лиденька, не знаю; не успела спросить. Но думаю, она занимается приготовлением удобств для занятий Павла Сергеича, который остается у нее. Сюда уже перевезены его книги. Это не так много, как ты мог бы предполагать, Леренька, но все-таки сотни книг. Лиденька говорила, что ей хотелось бы привести все в порядок к тому времени, как Павел Сергеич пойдет в свои комнаты. Павел Сергеич, наш секрет обнаружился, идите на свое место.

В зал вошли слуги с подносами, на которых стояли бокалы для шампанского, другие слуги с бутылками его.

— Успею сказать вам несколько слов, — сказал Серпуховский, удерживая за руку Вязовского, сделавшего шаг на свое место. — Я прошу вас о дозволении искать близкого знакомства с вами. Кроме того я представляю вам одного из своих друзей.

— Э, князь, помилуйте, чего тут искать, когда каждый, кто захотел, тот и приятель мне; конечно, кто не из особенно дурных людей. Вы, разумеется, слышали от княгини ли, прямо ли от самой принцессы, о моем образе жизни и судя по нем, думаете, я человек нелюдимый; это точно, знакомых у меня в молодости было мало, потом еще меньше, а со времени переселения в Петербург и вовсе почти нет, но это просто потому, что я человек неловкий...

— Павел Сергеич, пора; все сели на места, ждут вас, — сказала баронесса.

— Сейчас, баронесса; после договорим, князь.

Вязовский взошел на свое прежнее место, сел.

Служители наливали шампанское, разносили.

Князь Серпуховский подошел между тем к одному столу стенографов, пожал руки всем шести мужчинам, сидевшим за ним, раскланялся с пятью девушками и одним мужчиной другого стола по другой стороне эстрады; слуга подал ему стул и он сел к столу стенографов, у которого стоял.

Подали шампанское сидевшим за столами и князю.

— А Павлу Сергеичу, забыли, — сказал князь, видя что слуги идут прочь, не подавая вина Вязовскому.

— Не велено, — отвечал слуга, бывший ближе других.

— Павел Сергеич не пьет, Леренька, — сказала баронесса.

— Но, тетушка, он, как видно, предложит тост; многие не пьют, но предлагая тост, берут бокал; это форма.

— Обойдется и так, князь, — сказал Вязовский, встал, обвел глазами, кончили ль слуги разносить вино, готовы ль все, и начал:

— Обществу, слушавшему меня, угодно выразить свое одобрение мне за изображение, действительного ль, или полувывмышленного лица, понравившегося всем, как я видел, мистера Джеррольда, — и, возвышая голос, он с очень большой силой произнес:

— За мистера Джеррольда!

Загремели аплодисменты.

Вязовский наклонился в ту сторону, где сидел князь Серпуховский.

— Князь, вы здесь свой; — мне неловко сойти, пожалуйста, подойдите; я хочу спросить у вас одну вещь.

Князь взошел к нему.

Он прошептал князю несколько слов.

— О, да, — обыкновенным голосом отвечал князь.

— Леренька, на какой вопрос Павла Сергеича отвечал ты словами: «О, да», — сказала баронесса: — Я отвечал словами: «О, да» на его вопрос, найдется ли в доме шампанское для тоста; а ты?

— На вопрос, найдется ли в доме шампанское для другого гостя. Все рассмеялись. Это много содействовало прекращению аплодисментов.

Слуги разнесли и налили шампанское.

Вязовский начал:

— Не все в М-ме Элеоноре Дюбеллэ было одобряемо всеми. Но я глубоко уважаю и подобно мистеру Джеррольдлу люблю ее; тем же чувством люблю и так же горячо. Сила аплодисментов тосту в честь ее покажет, многие ли одобряют мое чувство к ней. — И он еще громче первого тоста произнес второй:

— За Элеонору Дюбеллэ!

Громче прежнего загремели аплодисменты.

Вязовский взглянул на баронессу, делая рукою жест наливания. Баронесса повторила жест, обратившись к слугам. Они разнесли и налили вино. Общество видело, что должно прекратить аплодисменты.

Вязовский начал: — Мой третий тост не требует вступления, — и очень громко произнес:

— За мистера Бриггса!

Аплодисменты были тоже единодушны и громки.

Теперь Вязовский уж сам сделал знак слугам. Они снова налили бокалы. Он подозвал наливавшего стенографам и князю, попросил дать бокал и ему, и начал:

— Этот тост выпью я один. И прошу слушающее меня общество не делать аплодисментов ему.

И еще громче, чем даже тост за Элеонору Дюбеллэ, он произнес слова:

— За честных богатых и знатных людей, представители которых составляют большинство находящегося здесь общества!

Он отпил вина и сказал:

— Следующий мой тост имеют право и вероятно будут пить все лица, составляющие мою аудиторию полукруга. — Князь, дайте новый, полный бокал и отойдите.

Князь подал ему бокал и отошел к баронессе.

Вязовский с той же силой голоса, как свой четвертый тост, произнес пятый:

— За тех из слушавших мой рассказ небогатых людей, которые не порицали меня за сочувствие честным богатым и знатым!

Он низко поклонился налево и направо, стенографисткам и стенографам и выпил весь бокал.

Очень громки были аплодисменты и этому тосту.

Вязовский сошел с эстрады, подошел к князю, стоявшему после кресла тетки и сестры, сидевших рядом и сказал:

— Докончу мое прерванное объяснение, князь. По моему образу жизни можно думать, что я нелюдим; нет, я только неловкий человек, не умеющий заводить знакомств; и занятой человек, желающий не тратить времени на пустые раз-

говоры; но вы, князь, хотите познакомиться со мною не для пустых разговоров, это понятно. Благодарю вас за честь вашего знакомства.

Он поклонился князю и хотел идти на свое место. Князь опять удержал его за руку.

— Я должен рекомендовать вам, Павел Сергеич, одного из моих знакомых; на это не надобно мне спрашивать вашего согласия; я должен. Но это, когда вы кончите; вы хотите опять говорить что-то обществу? Идите.

Вязовский взошел на свое место. Аплодисменты прекратились. Он начал:

— Я хочу сказать о том, что тихо говорили мы с баронессой, когда она отвела меня далеко от всех. Когда я кончил мой рассказ, я хотел говорить об этом много; но имел хоть то благоразумие, что рассудил: вы утомлены. Потому скажу лишь несколько слов. Баронесса с упреком заметила мне, что я был дерзок. Это правда. Я не хотел быть дерзким, но был. Это вышло непреднамеренно; но вышло. И прибавлю новую дерзость. Я не жалею о том, что вышло так. Сказать в лицо людям, что я чужой им, это дерзость. Я сделал ее, и не жалею о ней.

Он низко поклонился, и сошел с эстрады.

К нему подошли князь Серпуховский и с князем человек тоже лет тридцати, имевший манеры хорошего общества.

— Рекомендую вам, Павел Сергеич, моего сотоварища по университету и хорошего знакомого, Владимира Михайловича Глинского.

Глинский и Вязовский подали друг другу руки.

— Я, как видите, человек, принадлежащий к светскому обществу, — сказал Глинский: — но с тем вместе, я литератор. — Я встречал княгиню в обществе; она знает меня; но до сих пор я не имел чести быть знаком с нею. Тот круг светского общества, к которому собственно принадлежу я, не аристократия. В том кругу, где бывает княгиня, я довольно редкий и очень мало заметный гость. Здесь я в первый раз. Я приглашен Серпуховским, по поручению княгини. Я был в гостях у одного из моих друзей, у которого собираются по четвергам близкие его знакомые, большей частью литераторы и приятели литераторов. Это далеко отсюда; а я живу далеко и отсюда и оттуда. Мы с Серпуховским, хоть остаемся приятелями, видимся редко. Он не знал, что я там; проехал ко мне, от меня должен был ехать за мной туда; оттого мы и запоздали. А то и мне пришлось бы с полчаса, пожалуй, находиться в числе оскорбляемых, как вы выразились, вашим невежеством.

— Однако я покидаю вас, Павел Сергеич и Володенька, — сказал князь: — иду быть помощником тетушки и сестры, помощниц Лидии Васильевны; гости начинают разъезжаться. Возвратимся все вчетвером, проводив их.

— Я не мог не хвалить вас, М-г Вязовский, за...

— Но похвалить можно и после, а сначала сядем, — сказал Вязовский: — терпеть не могу стоять. Вы помоложе меня чуть не вдвое, так следует вам делать по-моему; я же кстати такой человек. Я скажу вам, какой я человек, когда мы сядем, — они подошли к ближайшему дивану и сели.

— Ну-с так вот я какой человек, смотрите. — Он сгорбился, положив локти на колени, опустившись плечами, сколько было ловко, повесив голову и нахмутив брови. — Так вот вы смотрите на меня, а я смотреть на вас не буду. — Действительно он повесил голову прямо книзу глазами, так что ему не было видно ничего, кроме соседней с его ногами части паркета. — А главное, слушайте. Смотреть на меня, это как вы хотите; лучше, пожалуй, и не смотреть: хорошего мало увидите; а слушать меня, это надобно; потому что хоть может быть и ничего кроме дурного или глупого, по вашему мнению, не услышите, но плохо вам будет, если попробуете сделать мне возражение. Вопросы я допускаю, даже люблю. Чего не поймете, спросите, объясню; люблю объяснять. Но возражать не советую. А впрочем, это ваше дело, хотите — попробуйте. Вы хотели за что-то хвалить меня. Терпеть не могу, чтобы хвалили или порицали меня, то есть такие люди, как вы, с высоким мнением о себе. — Он замолчал и немедленно покачал головой.

— Но скажите сам за что я обидел вас? Не правда ли, не за что было? — Он помолчал.

— Знаете что: ведь я нарочно помолчал. Знал, что вы рассердились; но не вижу, наверное не могу сказать, а взглянуть лень. Хорошо сидеть этак. Разумеется лучше бы прилечь, да нельзя: с секунды на секунду жди, что войдут дамы, проводивши гостей. — Так вот взглянуть лень, а улику иметь надобно, что вы сердитесь, я и помолчал. Если бы не сердились, сказали бы что-нибудь, а вы молчали. Скверный у меня характер, как вы видите. Но исправляться мне поздно, да и недосуг, да и не вижу надобности. Он опять помолчал.

— Ну, простите. Если сказать правду, вы должно быть не дурной человек. Напрасно я обидел вас; но вы не думайте, что признавая себя неправым перед вами, я в самом деле считаю себя неправым. Нет, это лишь моя манера говорить; скверная, дурацкая. Ну да, это все равно дурацкая ли, или нет. Такой у меня характер; не могу держать себя иначе. Все извиняюсь, все виню себя. Не верьте этому. Это лишь неуклюжее желание быть деликатным. На самом деле вы кругом виноват. — Как смели вы вздумать похвалить меня, не потрудившись узнать, нуждаюсь ли я в похвалах? Вы оскорбили меня, вообразив, что мне нужны ваши похвалы. Мне жаль, что я обидел вас, только вы уже знаете, что эти слова мои пустые. О том, что я обидел вас нельзя мне жалеть: так было надобно. Теперь вы знаете, как следует вам дер-

жать себя со мной и не забудетесь. И не выйдет у нас серьезной ссоры, а без того вышла бы. Мы забылись бы. Я хоть неуклюжий, но как умею по своей неуклюжести уступчивый, мягкий, деликатный человек; наступать мне на ногу очень легко. И можно всякому очень долго. Но вдруг из-за мелочи, которой не следовало бы обидеться, вздумаю я рассудить, что пора кончатся этому. И покончу по-медвежьи. Хорошо, когда наступает на ногу дама. Хорошо, когда наступает на ногу простолудин. От простолудина я не могу получить никакого оскорбления, потому что он бедный, жалкий человек, ничтожный даже предо мной. Что считаться с людьми, которые ничтожны перед нами? А дамы? Это то же самое. Я, видите ли, думал и рассудил о женщинах, когда о них еще не писали; стало быть у меня есть о них свои понятия. Бедные люди, несчастные люди, женщины. Да, — я забыл ваши имя и отчество?

— Меня зовут Владимир Михайлович.

— Ну, теперь давайте мириться, Владимир Михайлович, довольно наговорено грубостей с моей стороны и не будет заносчивости с вашей. — Вязовский передвинул локти на коленях, так что повернулся лицом к своему собеседнику и пристально посмотрел на него, потом опять устроился в прежнее положение и стал смотреть в пол.

— Мы станем приятелями. Верьте не верьте, все равно, сам увидите: полюбите меня, потому что, как видно, нам с вами приходится часто бывать вместе. Вас пригласили сюда для меня. Зачем, не знаю; только видно, что для меня. — Возвратимся к тому, с чего начали и чем навлекли на себя неприятную сцену. Вы хотели похвалить меня за что-то. За что? — Я думаю за тосты? Так?

— Да.

— Прекрасно. Это я придумал в самом деле хорошо. Должны были начаться рассуждения о моем рассказе, о его достоинствах и недостатках. Без таких разговоров, повидимому, нельзя было обойтись обществу; а между тем, во-первых, я этого терпеть не могу, во-вторых, это было бы скучно самому обществу, — всем, всем в нем, кроме двух, трех людей высокого мнения о себе, которые наслаждались бы, щеголяя своим умом, тонкостью вкуса, уменьем говорить хорошо; в-третьих, это тянулось бы долго, а время было уже позднее для хозяйки дома, которая, слышали вы, встает в 10 часов. Я своими тостами связал всем языки. Все аплодировали; то есть одобрение выражено и порицать нельзя. За эту ловкость хотели вы похвалить меня? Да, это было сделано ловко, хоть я и неуклюжий. Но бросим все это, — сколько вам лет, Владимир Михайлович?

— Двадцать девять.

— Живы батюшка и матушка ваши?

— Живы.

— Ну, это хорошо; если они хорошие люди, разумеется. Я полагаю хорошие?

— Хорошие.

— Особенно мать.

— Да.

— Извините, Владимир Михайлович, что я сделаю вопрос нескромный. Ваша матушка не могла в свое время, то есть когда они были молоды, жаловаться на вашего отца?

— Это, действительно нескромный вопрос; но я могу отвечать на него без затруднения: мой отец был верен моей матери.

— Вопрос мой не был нескромный; я только назвал его так; это моя дурацкая деликатность. Я не делаю нескромных вопросов. Никогда. По неразумению, по незнанию могу делать ошибки; делаю часто; но заметив, извиняюсь, уж не по дурацкой деликатности, а в самом деле. Но преднамеренно, нескромностей не делаю. И никогда ничего огорчительного никому не говорю, без необходимости. — Вы видите теперь как идет разговор? — Я веду его как хочу. Так следует. А вы воображали вести его, как вам угодно. Это была дерзость. Что вам нужно, спрашивайте. Я готов учить. А если не имеете, о чем посоветоваться со мной, то ждите о чем я заговорю, и слушайте и учитесь. — Да, так я сказал, что мой вопрос не был нескромный. По вашему лицу я видел, вы росли в честном семействе. Я давал вам случай засвидетельствовать, что ваш батюшка человек достойный уважения. Если б я не знал по вашему лицу, что это так, я не спросил бы. Не хотите ли посмеяться, сказать: дерзкий вы человек, Павел Сергеич! Посмейтесь; я люблю, чтобы смеялись надо мной; только чтоб это было без высокомерия. — Хорош я был в этом обществе? Странная фигура?

— Да, несколько странная.

— А все-таки, нужды нет, что странная, на своем месте была эта фигура?

— На своем.

— Хорошо рассказывал я?

— Хорошо.

— Ну, вот видите: начали хвалить меня, то и хвалите; потом говорите, за что можно порицать; сколько хотите; буду слушать.

— А тогда рассердились?

— Разница. Теперь вы будете говорить для собственного удовольствия, а не для того, чтобы одобрить или научить меня. — Вы любите театр?

— Люблю.

— А картины хорошие любите? И статуи? И поэзию?

— Да.

— Ну, и можете говорить обо всем этом, сколько вам угодно, и я буду слушать, потому что вы будете говорить для собственного удовольствия, а не для того, чтобы учить меня. Разумеется,

мне будет скучно слушать вас; я или сам знаю, то, что вы будете говорить, или если не знаю, то потому, что не пожелал узнать; вы слышали: я десятки лет живу лишь для чтения и для ученой работы; чего не знаю, того не захотел узнать. Скучно будет мне слушать или давно известное, или неинтересное мне; нужды нет; не велика мне беда поскучать. Привык. Есть люди, которым надобно говорить со мною; говорить с ними — моя обязанность. Исполнение обязанности не скука; скука лишь пустота, а это не пустота, исполнение обязанности. Но, Владимир Михайлович, кроме тех людей, которые говорят со мною по надобности, давно не встречал я людей, с которыми не скучно было бы говорить мне. С давнего времени. И не вижу, чтобы были такие люди. Потому и не ищу знакомств, и не имею знакомых, кроме тех, кто нужен мне, или кому нужен я. Тех и других мало. Вам я могу быть нужен. Мои советы будут полезны вам. Что вы писали? И что пишете теперь? — Не обижайтесь моим незнанием того, что писали вы: я мало читаю по-русски; очень мало; и вот уж одиннадцать лет почти ничего; со смерти Некрасова, с появления в печати посмертных его произведений. Вот был человек! Имел свои недостатки. Но мелкие и не мешающие ничему благородному в человеке. Да, хороший был человек! благородный, великодушный, кроткий, — да, кроткий, при такой силе характера. И какого ума был человек? Вы были знакомы с ним?

— Нет.

— Если вы не знали его, то скажу вам о нем так: вы не видели ни одного человека с такой силой ума, как он. А талант? — Говорят: поэт народного быта, поэт прогресса. Разумеется. Но не умеет ценить его тот, кто не прибавляет: великий поэт любви. Со смерти Гёте, не было такого великого поэта любви.

Вязовский остановился, потому что заметил: голос его дрожит.

— Вы говорите о Некрасове не так, как говорят вообще.

— В том-то и дело, Владимир Михайлович, что обо многом я думаю не так, как думают вообще. Потому-то знакомство со мной и будет полезно для вас: вы научитесь многое понимать правильнее, чем понимаете теперь. И если у вас есть талант, разговоры со мною много помогут его развитию. Что вы писали и что вы пишете?

— Последняя моя повесть (он назвал свою повесть) была напечатана в (он назвал журнал, в котором она была напечатана).

— Расскажите мне ее, — нет, ее вы лучше пришлите мне прочесть, а расскажите ту, которую пишете теперь. Ее еще можно поправить. Я посоветую. Не все мои советы будут прямо пригодны для нее; быть может ни один не будет годиться прямо для нее; но полезное влияние на ваши мысли при труде будет оказывать общий характер моих советов. Рассказывайте же.

Слушатель Вязовского, сделавшись наконец его собеседником, стал рассказывать.

— Что ж, это недурно. — Что ж, это не глупо, — сказал раза два или три Вязовский.

— Вот мы и возвратились, — начала княгиня. — Вязовский взглянул: в самом деле, она, баронесса, графиня, князь возвратились, проводив гостей.

— Вот мы и возвратились. Как понравилась вам повесть М-г. Вязовского, М-г. Глинский?

— Я попробовал было похвалить — и даже не самый рассказ Вязовского, а только тосты, — и то мне достался такой нагоняй, какого я не получал и на школьной скамье в высших классах гимназии. Не требуйте ж, княгиня, чтобы я высказал свое суждение о его рассказе.

— Павел Сергеич, напрасно вы сделали выговор М-г. Глинскому; виноват был не он, а Валерий, который не предупредил его, что не любите никаких суждений о вас.

— Ваша правда, княгиня. Впрочем, мы уже помирились с Владимиром Михайловичем.

— Не совсем, кажется, — сказала княгиня.

— Признаться, я и сам это думаю, княгиня; я только так сказал.

— Это у вас дурная привычка, Павел Сергеич, говорить не то, что вы думаете.

— Ваша правда, княгиня. Я уже сказал Владимиру Михайловичу, что это у меня дурная манера.

— Дело, впрочем, вовсе не в том, М-г. Глинский, нравится вам или нет, хороша или дурна повесть Павла Сергеича, — об этом, действительно нельзя говорить ни с ним, ни при нем; я хотела спросить только то: купит ли ее тот журнал, с редакцией которого вы близок.

— Охотно купит.

— Можно кончить это дело прямо с вами?

— Я ничего не могу сказать о цене, княгиня; но что журнал, в котором я пишу, охотно возьмет, в том не может быть сомнения.

— Сколько же приблизительно может дать он? Берите самую низкую цифру. Сто рублей даст?

— Наверное больше, княгиня; рассказ довольно велик.

— Хорошо; кончайте же торг. Давайте сто рублей, — только сейчас же; вы напишите редакции вашего журнала, что купили повесть; она будет скоро переписана, — когда? — обратилась княгиня к стенографам и стенографисткам, продолжавшим записывать.

— Если вам угодно, княгиня, то завтра часам к 11 будет все переписано, — сказал стенограф старший по летам.

— Прекрасно; я прошу вас об этом. — Итак, М-г. Глинский,

завтра вы получите повесть, передадите ее в редакцию вашего журнала, там оценят ее, пришлют вам деньги, вы возьмете свои сто рублей и передадите Павлу Сергеичу.

— Я согласен, княгиня; но со мною только 50 или 60 рублей. Я не знал, зачем вы приглашаете меня. Леренька, давай денег взаем.

— Изволь. — Князь Серпуховский отдал Глинскому свой бумажник.

— Глинский взял из него сторублевую бумажку, и отдал княгине.

— Превосходно, — сказала она.

— Нет, позвольте, княгиня; так не годится, — сказал Вязовский: — если печатать «Мое оправдание», то надобно напечатать и все то, что нужно для ясности: как я попал к вам, о чем мы с вами говорили, и каким невеждой я держал себя в библиотеке.

— Правда; я сама это понимала, что с таким предисловием будет лучше; я только не хотела обременять вас еще новой просьбой.

— Это вам стыдно, княгиня. Будто я не понимаю?

— В этом вы прав, Павел Сергеич: я должна стыдиться, что не хотела прибавлять к другим моим просьбам эту.

— То-то и есть, княгиня; это очень стыдно вам.

— Очень, Павел Сергеич. Когда же вы расскажете вступление нашим новым знакомым?

— Это вам тоже стыдно, княгиня.

— Правда, Павел Сергеич, я сделала снова ту же ошибку, очень дурную.

— Важности в ней нет, княгиня; я понимаю: это у вас только так сказалось по привычке вашей говорить так с другими.

— Правда, Павел Сергеич. Итак, определение времени зависит, от меня и от наших новых знакомых; а для меня всякое время одинаково удобно; следовательно, решить должны они по своему удобству. — Она подошла к столу стенографисток, и обращаясь к ним, обращалась по временам взглядами на группу стенографов за другим столом: — Mesdames и messieurs, удобно вам будет завтра обедать у меня? Мы обедаем рано, в 5 часов; удобно вам?

— Благодарим, княгиня, — сказала одна из стенографисток, переглянувшись со всеми.

— А когда вы будете записывать; до обеда, или после обеда?

— Мы можем прийти к вам и до вашего обеда; вероятно, в 2 часа завтра мы будем свободны. Но лучше, после обеда; вечерняя наша свобода вернее.

— Прекрасно. Буду ждать вас к 5 часам.

Они привстали, и поклонились.

— Обязан быть и вы, М-г. Глинский.

— Благодарю, княгиня. Я действительно, буду не лишним

завтра у вас. Когда будет стенографирован вступительный рассказ Павла Сергеевича, легко будет приблизительно определить размер целого; я отдам деньги по расчету наименьшего гонорара за повести — он известен мне; журнал даст, без сомнения, несколько больше.

— Прекрасно; но теперь объем больше прежнего. Вы безопасно можете дать еще сто рублей.

— Могу.

— Давайте сейчас.

— Леренька, давай.

Князь опять подал бумажник своему приятелю; Глинский взял еще сторублевую бумажку и подал княгине.

— Теперь позвольте проститься, — сказал Глинский.

— Кажется, все кончено; можно и нам уйти? — спросила одна из стенографисток.

— Да, вам давно пора было отдохнуть, mesdames и mes-sieurs, — сказала княгиня: — Вам надобно рано вставать.

— Мы привыкли ко всему, выспимся, не выспимся, все равно.

Стенографистки и их товарищи и Глинский ушли. Остались только княгиня, баронесса с племянником и племянницей и Вязовский.

— Пора, давно пора спать, — сказала баронесса: — едем, Леренька и Наденька. — Но, какой вы дерзкий, Павел Сергеевич! И какой хитрый! — Как откровенно вы пересказали, за что именно упрекала вас я! Казалось, будто я называла вас дерзким в самом деле за то, что вы назвали себя чужим своему народу! Хитрецу вы!

— Случается, Вера Дмитриевна, что иной раз и сообразишь, как следует сделать; жаль только, редко; а нелепости умею делать беспрестанно.

— Я хочу шепнуть вам несколько слов, Павел Сергеевич. — Баронесса отвела его в сторону. — Вы не можете сказать, что я не выказала расположение к вам с первого же раза; но вы заметили, что мое расположение к вам усилилось после вашего рассказа?

— Как же не заметить, Вера Дмитриевна, хотя бы уж из одного того, что вы с этой минуты и стали называть меня вместо М-г. Вязовский Павлом Сергеевичем.

— Главная причина увеличения моего расположения к вам в чем?

— В моей дерзости, произошедшей от недогадливости, Вера Дмитриевна; или, точнее говоря, от моей глупости. Позвольте спросить, как же именно родня графине княгиня?

— В каждом слове у вас хитрость.

— В каждом, Вера Дмитриевна, которое догадаюсь сказать как следует. Только гораздо больше я говорю глупости.

— Иногда, то, что вы называете глупостями, лучше всего самого умного.

— Случается и это, баронесса. Позвольте же спросить, как родня княгине ваша племянница?

— Собственно говоря, Лиденька и Наташа даже не родня между собою. Росли вместе у меня, одна с пяти, другая с шести лет. Осиротели в одно время. Я была очень дружна с матерью Лиденьки; я была моложе только четырьмя годами. В детстве такая разница много значит, между взрослыми людьми не значит ничего. Дружба наша была близкая: родство было дальнее: мы с нею были троюродные сестры.

— Это очень хорошо, Вера Дмитриевна.

— Да. Вашу руку, мой друг; и я уведу своих; Лиденьке давно пора спать. Обещайтесь не давать ей долго говорить с вами; помните: ей должно встать в 10 часов.

— Такие обещания плохо умею я сдерживать, Вера Дмитриевна. Охотник я говорить. Впрочем, постараюсь исполнить ваше желание.

— Наташа, Леренька, идем.

Подавая руку Вязовскому, графиня громко сказала: — Вы заслужили глубокую нашу признательность, Павел Сергеич.

— Очень догадлив; то как же не заслужить?

Княгиня проводила их.

— Идем теперь ко мне, Павел Сергеич.

— Позвольте мне идти в мои комнаты, княгиня; вам пора... Впрочем, что ж я! Это невозможно, княгиня, чтоб вы согласились отпустить меня не высказав мне, что у вас на душе.

— Да. Идем же. Но я, — продолжала она, идя с ним в свой апартамент, — не задержу вас, или вернее саму себя; для вас не выспаться, — все равно, как для наших новых знакомых.

— Как же можно, княгиня. Я в этом отношении лучше всех их, я думаю. Но и для меня бывало, если три ночи сряду не спать, то очень чувствительно случалось это. Дадут редкую книгу на короткий срок; а выписок из нее много; случалось.

— Лучше бы нам, женщинам, быть учеными; такими, как вы; и были бы мы спокойны, подобно вам.

— Ваша правда, княгиня.

— Не совсем; есть беспокойства и у вас.

— Как не быть, княгиня; есть.

— Особенно, одно?

— Да, княгиня.

— Теперь знаете, зачем я пригласила вас? — Ничьих денег не возьмет она. А ваши возьмет.

— Ваша правда, княгиня. Иначе, точно, нельзя, как заставить меня самого приобрести деньги. Стала бы допытываться, откуда взял. — «Вы даете мне чужие деньги; чужих мне не нужно», Невозможно. А это, действительно, мон.

Они пришли в маленький, личный салон княгини перед ее будуаром.

— Садитесь сюда, на это кресло подле меня, — сказала она, садясь с ногами на маленький оттоман, в котором было уютно ей. Несколько минут она молчала.

— Как вы думаете об этом, Павел Сергееч?

— Трудное дело, княгиня, трудное.

Она молчала.

— И собственно говоря, княгиня, мой совет в нем не нужен.

— Не нужен. Хочется только самой рассказать вам.

— Это, действительно, так. Рассказать, это действительно помогает человеку утвердиться в своих мыслях.

— И за что они назвали вас дерзким?

— Ваша правда, княгиня. Сходства, собственно говоря, нет. Это только вздумалось им находить сходство. Но ошибочно. Говорить прямо, княгиня?

— Прошу вас.

— Хорошо, буду говорить прямо. У моей М-те Дюбеллэ затруднение благородное, не спору, но фантастическое, можно сказать ребяческое. «Изменю памяти мужа», «потеряю уважение к себе за измену, за недостаток воли» — это пустые мысли. Если она верит в загробную жизнь, то следует ей думать, что муж благословляет ее. Разве несчастья хотел он ей? Он любил ее, стало быть, желал ей счастья. А если она не верит в загробную жизнь, то следовало б ей чувствовать в своей душе то самое, что переносит в рай вера сходных с нею по характеру верующих. Воспоминание о Жорже станет милее ей, когда не будет отравлено мыслью: «Моя любовь к нему мешает моему счастью». Она останавливается перед ребяческим недоразумением. У вас совсем другое. Дети, — вот что затрудняет вас, я думаю. Так ли? — Вы скажите, а то я могу и ошибаться.

— Дети, Павел Сергееч. Дети.

— Хорошо. Когда так, то сходное положение есть. Мачеха Сеттембрини. Только, они этого не заметили, потому что о мачехе говорится мимоходом. И притом там: какова будет вторая жена к детям? — А тут: каков будет второй муж. Одежда разная, то и не замечают, что одно и то же.

— К чему вы это ведете? Та мачеха хорошая — к этому?

— К этому, княгиня.

— И сыну вдовца было бы хуже, если б отец не женился?

— Да, только жениться ему следовало на хорошей женщине, чтоб сыну было хорошо. Я полагаю, что собственно этого сомнения нет. Что ж, ведь Валерий Николаевич любит Володю и Ниночку?

— Вы решительно против меня.

— А вы как же думаете: можно рассудительному человеку быть за вас? Невозможно. Я говорил: сходства с М-те Дюбеллэ

нет. Это я так говорил, чтобы не вникать в дело глубоко. А вникнуть, то окажется то же самое, только с подстановкой другого слова вместо прежнего. «Память о муже служит препятствием счастью» — из этого следует: память мужа станет ей наконец ненавистна, если она не бросит своей глупости. А у вас: «мысль о детях мешает»; следовательно должно развиться чувство неприязни к детям. Хорошо это?

— Отложим этот разговор. Вы страшный человек.

— Страшный ли, не страшный ли, а действительно думающий: пора вам почивать, княгиня.

Он встал.

— Павел Сергенч, я думала о вас лучше, — сказала она, стараясь пробудить в себе шутовское настроение: — я думала, вы любезный человек.

— Чем же я плох в любезности, княгиня? Я в этом отношении нравлюсь себе.

— А вот чем. Вы человек старомодного фасона любезности — так?

— Самого настоящего версальского, княгиня.

— Так припомните: любезные кавалеры, вашего фасона всегда целовали ручки у дам.

— А что вы думаете, разве я не хотел выразить хоть этим мое уважение к вам?

— Впрочем, вы уж и целовали.

— То совсем не то, княгиня. То не версальский фасон.

— А то, что может соответствовать отцовской ласке, когда добрый старик — посторонний человек. Благодарю вас за эту ласку. Но поверите ли, я тогда плакала не о том, что дети мешают мне; я не думала тогда о себе, я думала только: жаль, что он умер.

— Вот это-то и ввело меня в ту ошибку, что я не предположил в вас чувства, которое следовало предположить. Думал: еще слишком сильна печаль о муже, еще нет места в сердце ничему, кроме печали. Не сделай я такой ошибки, разве б я решился говорить об Элеоноре Дюбеллэ? Не бессовестный же я человек, чтоб выставлять на вид то, что человек желает скрывать.

— Да, вы с начала знакомства со мною успели наделать уж много ошибок. Хотели быть гувернером Володи. Наденька едва удержалась от смеха. И с чего вы взяли это? — Я просила вас рассказывать сказки детям и пожить у меня несколько времени. Если вы живете у меня, то как же вы не будете рассказывать сказки моим детям? Вы охотник до этого, а дети просят. Неужели ж я такая неделикатная женщина, что могла иметь мысль оторвать вас от ваших занятий? — Вот теперь моя очередь сказать вам: стыдно, стыдно думать обо мне так. Чего я прошу у вас? — Несколько дней, только; и в этих днях — лишь по несколько часов для меня.

— Ваша правда, княгиня; свое гувернерство я выдумал очень глупо и действительно, мне стыдно перед вами. Но кроме этого — что ж мог бы придумать для объяснения вашей просьбы поселиться у вас? Даже теперь, когда вы сказали, что я ошибся, и сам вижу, что очень грубо ошибся, не могу придумать: когда не так, то на что ж вам нужно, чтоб я жил у вас.

— На то, Павел Сергеич, чтоб иметь человека которому можно говорить все, не опасаясь ни насмешки, ни порицания, ни измены.

— Эта ваша правда, княгиня. Удивительно, как я не догадался об этом. — То есть вы даже и прямо говорили, что хотите разговаривать со мною. Но я полагал, этого мало, чтоб объяснить надобность мне жить у вас. Я мог бы приходить, когда вам угодно, хоть каждый день; это было бы проще.

— Не то, когда лишь временами тут человек, которому хочешь высказать свою душу, а большею частью нет его тут. Но действительно, есть у меня и другая надобность в вас. Это мое желание вы будете исполнять, сами того не замечая. И при вашем характере, нельзя вам исполнять его иначе, как тем, чтобы жить у меня. Но действительно, пора спать мне. Поговорить о том, зачем я просила вас пожить у меня, всегда успеем. Спокойной ночи, мой друг. — Пришлю Наташу, она проводит вас к своему дяде, он проводит вас в ваши комнаты.

— Спокойной ночи, княгиня.

Княгиня ушла. Пришла Наташа, проводила Вязовского к своему дяде; Яков Иванович проводил Вязовского в его комнаты. На вопрос Якова Ивановича, все ли хорошо, он отвечал, что все хорошо. Яков Иванович ушел. Вязовский сел на диван, хотел подумать, но как сел, через минуту уснул.